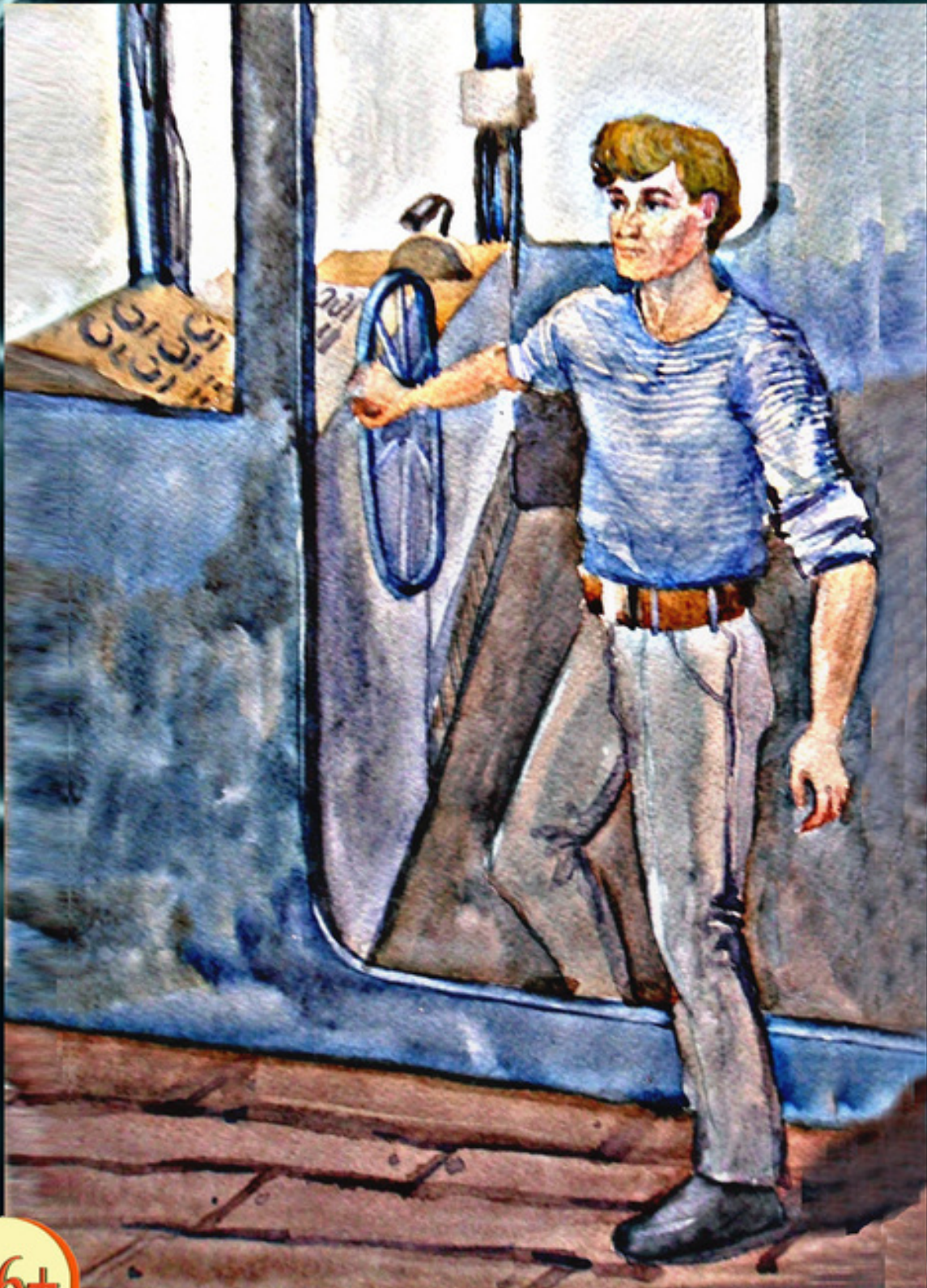


Владимир ШАПКО

ПАРУС



16+

@ЭЛИТА



Владимир Шапко

Парус (сборник)

Электронное издательство "Аэлита"

2015

Шапко В.

Парус (сборник) / В. Шапко — Электронное издательство "Аэлита", 2015

В книгу «Парус» вошло пять повестей. В первой – «Юная жизнь Марки Тюкова» – рассказывается о матери-одиночке и её сынишке, о их неприкаянной жизни в большом городе. В «Берегите запретную зонку» показана самодовольная, самодостаточная жизнь советского бонзы областного масштаба и его весьма оригинальной дочери. Третья повесть, «Подсадная утка», насыщена приключениями подростка Пашки Колмыкова, охотника и уличного мальчишки. В повести «Счастья маленький баульчик» мать с маленьким сыном едет с Алтая в Уфу в госпиталь к раненому мужу, претерпевая весь кошмар послевоенной железной дороги, с пересадками, с бессонными ожиданиями на вокзалах, с бандитами в поездах. В последней повести «Парус» речь идёт о жизненном становлении Сашки Новосёлова, чубатого сильного парня, только начавшего работать на реке, сначала грузчиком, а потом шкипером баржи.

© Шапко В., 2015

© Электронное издательство
"Аэлита", 2015

Содержание

Юная жизнь Марки Тюкова	6
1. Марка Тюков. Он же – Казл. Он же – Осл	6
2. Марка Тюков. Он же – Тюка. Он же – Лёлин	21
3. А я видел Дядю	34
Берегите запретную зонку	47
1 «Верончик! Веро-ок!»	47
2. Долгие тяжёлые дни отдыха, или Раз-два! Раз-два!	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Владимир Шапко

Парус (сборник)

© ЭИ «@элита» 2015

* * *

Юная жизнь Марки Тюкова

1. Марка Тюков. Он же – Казл. Он же – Осл

На голой площади перед горсоветом, пока мать нервно озиралась, Марка смотрел на крышу горсовета. На острую, выстриженную из железа штуковину, легко сквозящую в утреннем солнце. Штуковина была как комбайнёр. Который из пшеничного венка лыбится... Марка хотел спросить про штуковину... но мать сама приклонилась к нему, быстро шепнула: «Смотри!» Марка смотрел. На комбайнёра в солнце. На крыше. «Да не туда, не туда! – повернула его мать. – Вон тот дядя – Папа... – Подтолкнула: – Иди к нему... Поздороваться не забудь!»

Пятилетний Марка пошёл, очень умно обходя на асфальте лужи. Подошёл, громко, радостно прокричал:

– Здравствуйте, дядя Папа!

Рубашка на нём была белая, а штанишки с ляжками – чёрненькие. Сандалии на ногах будто отсолидоленные. И голова только вчера подстриженная. Под ноль...

– Здравствуйте, дядя Папа! – ещё раз крикнул Марка. Но дядя Папа смотрел на него и почему-то не здоровался. Потом сказал, что младенца всему можно научить. Да, всему, Марья Петровна!

Марья Петровна, она же – Маня Тюкова, сразу заходила неподалёку, завсплёскивала руками:

– Да не учила я его! Ей-богу, не учила! Филипп Петрович! – Не выдержав, подбежала: – Учила я тебя? Учила? – Дёргала за руку: – Учила?! – Поддала по попке: – Учила, на́дурный! Говори!

Марка запел:

– А чего она дерётся, дядя Папа-а-а!

Да, что тут скажешь? Как говорится, устами младенца. Всё понятно. Новый выходной костюм Филиппа Петровича в пожарном длинном рукаве имел вид тарантула. Ноги в белых носках и мокалинах походили на перебинтованные кирки. Филипп Петрович был сельский интеллигент. Он был Зоотэхник. Шляпа, понятное дело. Галстук как вожжи... И вот приехал. Встретили, что называется... «Дядя Папа»!

– Да не учила я его! Ей-богу, не учила!

– Ладно, чего уж теперь? Раз приехал? Встретили. Пойдём, Марк. Со мной будешь сегодня.

– Меня Маркой зовут, Маркой! – закричал Марка.

Филипп Петрович удивлённо воззрился на бывшую жену, за руку держа сына...

– Марка, Марка он! – примирительно толкала ладонями та. – То есть Марк, конечно, Марк! Марк Филиппович! Вы уж извините!

Отец и сын двинулись, наконец, с площади. Маня тоже пошла. Но в сторону. Чуть не на цыпочках. Не смотрела на них, отворачивалась. Словно боялась сглазить, спугнуть. Но мальчишка опять закричал, вперебой поддавая ножками:

– Марка я, Марка! – И дёргал, дёргал отца за руку, как безвольного... Господи, что будет!..

Когда вечером Марка был приведён к бараку и отпущен, Маня Тюкова и старуха Кулешова во все глаза смотрели из окна, как Филипп Петрович уходил обратно к Нижегородной, чтобы оттуда ехать в Дом колхозника, где должен ночевать. Руки Филиппа Петровича

в длинном рукаве продольно-преданно ходили у боков. При пряменькой спине. Человек то ли на лыжах шёл, то ли хотел подраться боксом... «Такого мужика проср...!» – Кулешова села. Всегдашний зоб её подрагивал. Как шершавые дрожжи. «Дура ты, Манька, дура! Прости, господи! Кулёма!» Маня Тюкова покусывала губы, нервничала. «Напяливай теперь железки-то, напяливай!», – всё сердилась, добивала Кулешова. В виду имелись несколько бигуди, болтающихся на Мане. Подобно забытым детским скакалкам... «Напяливай теперь...»

В комнату Марка ввалил с алюминиевой саблей, навешенной на него. Как с яхтой. Маня кинулась к нему, оглядела всего, как будто незнаваемого, чужого. «Ну, что он сказал, что?»

Сын был туг, как мяч, сопел, пойкивал. Вокруг губ насохло то ли от пирожного, то ли от мороженого. Сабля на боку висела по-прежнему – как перевёрнутая яхта. «Ну, ну!» Сын с гордостью сказал:

– Ты – Казл, Марк! А также – Осл!

– Какой Казл? Когда, когда сказал?

– В столовой. Когда я опрокинул ему чай на брюки... Ты – Казл, Марк, сказал. А также – Осл!

Маня отнеслась к сообщению осторожно, уважительно. Потом вдруг тихонько засмеялась, лоя в ладошку смех. «Костюм-то новый, совсем новый! Вот смеху-то!»

Кулешова не знала, что думать. Казл... Может – что ветеринар? По-ветеринарному это? Язык у них такой? Осл...

Марка покачивался от усталости и сытости. Без сандалий, заваленный с саблей на мате-рину кровать, рассказывал, где они с папкой ходили и что они с папкой целый день делали. Всё в комнате было своим, ну вот прямо-таки свойским. Ходики по-птичьи маршировали на стене. Чайный гриб в банке сидел, как гроза... Марка попросил, чтоб налили от него. Соскучился. Наливая, мать сразу спросила про ядрёненькую – покупал ли? «Пок-купа-ал! – бесша-башно махнул рукой Марка. Прямо-таки кутила после кутежа. Похмельно отпил от «грозы»: – Такой же вкусной покупал. И мороженого – сколько я хотел! От пұза!» Марка откинулся, икнул. Марка смотрел в окно. На алойке на подоконнике засохло солнце. Там же рядом сидела чёрная баба Груня без плеч. Марка опять стал рассказывать. Язык Марки заплетался. Марка заговаривался уже, как бредил. Комбайнёр на крыше железисто скалился. Награждённый пше-ничным венком, выстриженным из железа. Марка торопливо дышал, оберегая дыханием ком-байнёра. Ручонка Марки подрагивала на эфесе сабли – как на закрученном парусе.

Старуха Кулешова сидела, не уходила. На фоне затухающего окна являла собой беспле-чую бомбу. Пеняла всё, всё наставляла. А Маня Тюкова, пригнувшаяся, согласно и повинно покачивала головой с тремя забытыми болтающимися бигуди. Как будто если так вот послушно выслушивать про себя плохое, что случилось с ней в деревне, так вот кивать, то всё хоро-шее, которое тоже было в деревне, вернётся, придёт, начнётся сначала, здесь уже, в городе, и оттолкнёт плохое, старое, как будто его в деревне и не было, а было там – только хоро-шее... «Кто хоть был-то он?» – «Комбайнёр. С Украины. На уборку приезжали. Марке два года было...» – «Эх, пороть тебя некому было тогда...» – «Да всего один раз, тётя Груша! Один раз и было. Завлекал. Ночью. На реке. На гармошке играл...» – «Э-э, «на гармошке играл»... А где ветеринар-то был?» – «Здесь, в городе. На учёбе...» – «Э-э, «на учёбе»... Цветок алое на окне чернел раздрыгой, словно высосанный ушедшим солнцем.

Утром Марка играл во дворе. «Апираты, выхватили сабли!» Подаренную саблю с бедра – вымахнул. Воинственно растарачился, пошёл по двору, высматривая что срубить. Забора у двора не было. То есть ничего, кроме зарослей репейников, в округе не росло. Марка как будто бы не знал об этом. Марка увидел вдруг репейник. Первый раз в жизни! «Апи-раты, на абардър!» Побежал. Высохший репейник зашумел от рубящей сабельки, как пчельник. Но ни одной головки Марке не отдал! Марка не унялся. «Апираты, за мной!» Побежал к дру-

гим зарослям. И там пчёлы зашумели, не дались... Тогда Марка бежал, размахивал сабелькой просто так, направо-налево, рубил воздух. «Я – Апиратор! (В смысле – пират). А также – Казл! А также – Осл!» Или остановится, как бычок раздувая ноздри. «Апираторы, где вы? Сю-да!» И помчался опять, махаясь саблей. И репейники опять зашумели!

Смотрели на Марку стоящие у барака ребятишки. С упёртыми в бока руками, походили на голопузые увесистые замки. Потом, когда Марка утихомирился, разглядывали саблю. Алюминиевая сабелька стала после боя – как если хорошо отколотить селёдку. «Ерунда металл», – дали заключение. Однако Марка опять навесил на себя саблю как яхту. «Я – Казл!» Голопузые пошли. «Апираторы, стойте! Вы аристократно арестованы! Стой-те!» Марку никто не слушал. «Казл!» – только прилетело в ответ. Тогда Марка по-другому закричал: «Напланетяне, за мной!» И побежал на улицу. Один.

Мимо барака вниз улетала голая улица. Присев, Марка внимательно разглядывал на ней Хитренькие Радуги. Они попадали, наверное, сюда ночью, от большой радуги, от радуги-мамы, с неба, после дождя. Они хитрые. Падают только тогда, когда их никто не видит. Вон их сколько на асфальте. Одна, десять, пять, семь, восемь, двадцать! Марка принимался играть-прыгать через хитрые радуги. На одной ножке. Как по небу. Прыг-скок! Прыг-скок! Я – ма-асленный бок!

Пролетающий грузовик фуканул в Марку чёрным дымом. Гарью. Марка, присев, сильно закашлялся. Освобождался руками от длинных чёрных прядей, бород. Ладно. Пусть. Снова скакнул через дохлую радугу на асфальте. Ещё через одну. Другой грузовик кремлёвым сигналом ударил так, что Марка, сиганув, на обочине очутился. Ша-бут-но-ой!

Марка постоял, подумал немного. Краснопепловый смог висел над Маркой наливным яблоком. Марка увидел вдали Зараз (дымовые трубы). Марка начал рубить Зараз саблей. Крест-накрест! Крест-накрест! Слышно было аж как стучается сабля о кирпичи. Но Заразы – не падали, стояли... Закричала от барака мать, чтобы скорей шёл переодеваться. Ведь на свидание опаздывают, на встречу. И Марка радостно побежал.

Что-то уронив, ребятишки серьёзно ходили по двору, искали. Гологрудые – как будто поместительные чёрные пароходы на лямках носили. Штанины выведенного на крыльцо Марки были трубочатыми. Ниже колен. «Я – Казл!» – сказал он ребятишкам. Но те не ответили, даже не посмотрели.

Мать тащила Марку за руку к остановке. По дороге втолковывала, что он должен сегодня говорить... «И никакой не «дядя Папа»! Слышишь? Никакой не «дядя Папа»!..»

На площади перед горсоветом Марка прищурил глаз на лыбящегося в солнце Комбайнёра, подмигнул ему... и пошёл к отцу. На отца солнце не падало. Отцу солнца не досталось. Он стоял в конце длинной провальной тени, по которой шёл к нему сейчас Марка. «Здравствуй, Папа!» – смело прокричал Марка, подойдя... Всего встреч под Комбайнёром было три. На четвёртый день были уже проводы.

...В день отъезда Филипп Петрович пришёл к бараку и остановился метрах в тридцати от него. Бывшая жена и ещё какая-то полная старуха стояли на крыльце и смотрели в его сторону... Марка начал ходить между матерью и отцом – как между двумя межевыми столбами на местности, которые просто так не вывернешь, не собьёшь, а только можно ходить меж ними и соединять их как бы каждый раз наново, связывать длинной тропкой, пролезающей меж репьев. Сперва он принёс матери в картонной коробке зимние детские ботинки. Затем шёл тропинкой со стопкой детских рубашек разных расцветок.

Взяв в обхват, нёс осеннее детское пальто с лоснящейся подкладкой, свёрнутое, обвязанное бумажной верёвкой. Тропинка Марку звала то туда, то обратно, подаркам, казалось, не будет конца. А папка всё приседал и приседал к большой сумке, распоротой молниями, всё доставал... Старуха Кулешова несколько раз кричала Филиппу Петровичу с крыльца

барака, как будто с кормы судна, отправляющегося в Эдем. Кричала, как на реке. Чтобы Филипп Петрович, значит, скорей плыл к ним, на крыльцо взбирался, на барак. Потому как отплытие! Идите сюда, Филипп Петрович! Но Филипп Петрович, тоже крича, отказывался, ссылаясь на автобус от автовокзала в 10.30, говорил, что опаздывает.

К автобусной остановке бывшие супруги шли так: Филипп Петрович за руку с сыном впереди, а спотыкающаяся Маня – метрах в десяти сзади. Перед подошедшим автобусом металась, не зная, в какую ей дверь. Запрыгнула в последний момент в заднюю. Ухватила за штангу. Раскачивалась с автобусом, болталась. Украдкой поглядывала на два родных затылка, на две родные головы впереди у окна. Одна в шляпе, а другая, пониже – в детской летней кепке козырьком вверх; шляпа приклонялась к кепке, показывала на пролетающее за окном.

На автовокзале, когда объявили посадку, Маня пыталась что-то объяснить...

– Филипп Петрович!..

– Не надо, Марья Петровна... Прошу вас... Вы же знаете меня... – Голос Филиппа Петровича дрожал. Филипп Петрович склонился, потрепал сына по голове. Осторожно поцеловал. «До свидания, сынок...» И пошёл к автобусу.

Маня начала ломать руки. Господи, проводы же, проводы! Эту же надо! Эту! Как её? Скорей! И как на грех!.. Маня вспомнила. Отчаянно закричала, притопывая каблучками:

Пригласил меня в полёт,
Думала, летает.
Прихожу в аэропорт,
А он подметает...

Филипп Петрович восторженно – и сразу пошёл на носочках. И оттянул-ударил ладонь свою мокасиновой пяткой. Как гордый петушок крыло. И через три-четыре шажочка – другой раз оттянул-ударил. Уже другую распушенную ладонь – другой мокасиновой пяткой. (Из автобуса городские вылупились: обычай? аборигены?). Филипп Петрович шёл ещё, ещё ждал одну. Маня и вторую прокричала. И Филипп Петрович, как бы промысливая её, как бы вдогон аккомпанируя ей, ещё раз оттянул-ударил. Сперва одну ладонь, продолжая уходить на цыпочках, и через несколько шажочков, так же гордо – другою...

Он сидел в размазанном после грязной дороги окне. Как в сельском своём лубке. Он подмигнул из него Марке. Автобус тронулся и сразу завернул. Толкаемый матерью, Марка испуганно замахал, не зная, кому... Они пошли с вокзала.

А не замечающему летящих деревьев и домов Филиппу Петровичу... виделся почему-то один тот барак на окраине города... Словно брошенная, пущенная по течению баржа, барак уплывал куда-то в скученное небо, и только на крыльце его, точно на корме, спиной к неизвестности, стояли трое: тяжёлая зобастая старуха, молодая женщина в цветастом платье и маленький мальчишка в трубочатых штанах ниже колен, перекрещённый по животу лямками... Филипп Петрович вытирал платком крупный зернистый пот, который выступал и выступал на лбу его и щеках. Дышать Филиппу Петровичу было трудно. Он обмахивался шляпой. Машина пёрла быстро, неостановимо.

2

За те несколько лет, что Маня Тюкова прожила с сыном в городе, она успела поработать почти во всех кинотеатрах. Можно сказать и так – её прямо-таки полюбили все директора кинотеатров города. Несколько месяцев она проработала у Овчинниковой в «Факеле», ещё несколько – у Гудошниковой в «Юбилейном», дальше – у Локотко в «Ударнике». Она совмещала, подменяла отпускников, работала за декретниц. Но особенно ей нравилось в послед-

ние два года работать в трёхзальном кинотеатре «Родина», где директорствовал Эдуард Христофорович Прекаторос, под началом которого был ещё и летний кинотеатр-филиал, в парке, под названием «Восход». С начала сезона, с лета, сразу после майских праздников, он направлял туда Маню Тюкову, при этом объявляя во всеуслышанье, что она там будет главной, значит, тоже директором, правой его, Эдуарда Христофоровича, рукой. Остальные трое сотрудников, тоже ссылаемые в «Восход»: молодая, но длинная и унылая Иванова-кассирша, внутренняя билетёрша – пожилая Стеблова, и опальный киномеханик Фомин сорока пяти лет, каждый год присутствующие при напутственном этом инструктаже, хмуро смотрели в сторону: они опять не главные.

Маня Тюкова после такого доверия Эдуарда Христофоровича летала, что называется, на крыльях: бегала-давала звонки, отрывала контроль на билетах, запускала зрителей, здоровенной шваброй освежала полы в фойе, пока шёл фильм, на высоком многоступенчатом крыльце шоркала тряпкой; поправляла газеты и журналы на двух журнальных столиках; слышав телефон, вперёд Стебловой бежала в конторку, чтобы ответить на вопросы кинозрителей. «У нас сегодня «Дёрзкая девчонка». Да, «Дёрзкая». Кинофильм. Животики надорвёте! Час-три-пять-семь-девять! Приходите! «Дёрзкая девчонка!»

В бараке Маня Тюкова теперь говорила, что она – директор. Да, опять. Летнего кинотеатра «Восход». Ответственности-и. «Ой ли – директор? – осмеливалась усомниться Кулешова. – Грязной тряпкой-то по полам возить?» Временно, отвечали ей. Пока нет ставки уборщицы. То есть технички. Как выбьёт Эдуард Христофорович – сяду. Только на телефоне буду. Ну, там – билеты оторвать когда. А так – директор. Кулешова смеялась. Однако на «Дёрзкую девчонку» в первую же неделю ходила три раза. Понятное дело, бесплатно. Только подмигнёт Мане в дверях, на входе, дескать, своя я, Кулешова, и Маня, вроде не узнавая её, сунет ей оборванный чей-нибудь билет и скажет строго: «Проходите в зал, мамаша. Скоро начинаем». И посмотрит начальственно на Стеблову. Внутреннюю билетёршу. Чистый директор! Правда, поверишь... А тут ещё Марка с голопузыми подбегут, окружат. «Баба Груня! Баба Груня! Мы тоже без билетов! мы тоже бесплатно!» Кулешова только ахнет в смущении. А Маня скажет ещё строже: «Бабуля, уведите своих внучат в зал! Чтобы они тут не мешались взрослым!»

Стеблова нашёптывала Прекаторосу. Когда тот бывал в «Восходе». Каждый раз весь барак. Угу. Бесплатно. От мала до велика. Эдуард Христофорович громко смеялся, похлопывал Маню Тюкову по плечу: «Молодец, Тюкова! Так держать!» Прежде чем уйти из филиала, он всякий раз несколько медлил, оттягивал уход. Топтался, словно бы собираясь ещё что-то сказать Мане. Ему далеко за пятьдесят. Карие глаза несколько навывкате. А заваленная волосами лысина напоминала смётанный стог... Стеблова и даже скупающая Иванова-кассирша всегда торчали тут же, не уходили, преданные, ждущие от него слова, а он так и не говорил ничего. Словно откладывал на другой раз. Работайте, товарищи! Спускался по лестнице, поигрывая ключами от машины, шёл из парка, чтобы ехать к главному своему кинотеатру – к «Родине». Проспавший начальника Фомин мелькал в окошках аппаратной – прятал-раскидывал пустые бутылки. Он опять ночевал в аппаратной. Но это не опасно. Он был пьяницей редкой породы – некурящей...

Летний кинотеатр «Восход» как будто сполз к главной аллее парка, сполз с бугра, наломав вокруг себя берёз и сосен, которым ничего теперь не оставалось, как расти вкривь и вкось. До триумфального арочного выхода-входа в парк не добрался всего каких-то метров двадцать. Напоминал собой вытянутый глухой зерновой склад на сваях, обвешенный киркками, лопатами и ломачами, но с громоздко-лёгкой какой-то художественностью по всему фасаду. С широкой многоступенчатой лестницей, лезущей вверх ко входной двери, с фойе в виде громадной, высоко остеклённой веранды, с подпирающими крышу столбами, наподобие обострённых

длинноногих алебард, с художественной, собственно, резьбой, свисающей с фронтона деревянным виноградом, и наконец – с султанистой пузатой башней на самой крыше. И всё это из дерева, чуть ли не из фанеры. Лёгкое, воздушно-обширное. Ну а раз кинотеатр летний, временный – то никакого отопления внутри. Правда, вода. К пожарному рукаву под стеклом и к раковине в конторке. А если в туалет кому приспичит на сеансе – бегом на выход, в парк, неподалёку. Мария Тюкова и выпустит всегда, и запустит обратно.

Днём из парка в «Восход» публика попадала разная. Были тут и пенсионерки в шляпках, похожие на пельмешки. Два-три забуревших пивника в креслах, от парковой пивной забредших сюда то ли на перерыв, то ли ещё для чего. Влюблённые парочки, отпав друг от дружки, грызли мороженое, как мыши. Со своей ветеранской медалью, как с зубастой красной собачонкой, какой-нибудь ветеран у журнального столика прямо сидел. Развернув газету, как льготу, строго оглядывал всех. Тут же Гологрудые свои пароходы на лямках носили. Рассматривали фотографии артистов на стенах. Кто с мороженым на палке, кто просто так, ожидая, когда оставят лизнуть. И, наконец, сам Марка, который, запыхавшись, прибежал из зала, чтобы пригласить друзей на подготовленный им первый ряд. Куда пароходы солидно шли...

Как на работу, почти каждый день спешил к «Восходу» Коля Бельяши. (Прозвище такое.) Торопился вверх по улице. Высоко задирали сапоги. Как будто хлопал ими по воде. По мелководью. Где всё преломляется. Где дно обманчиво. В кирпичной арке у входа в парк начинал громко стучать в кассу.

Иванова-кассирша вздрагивала. С раскрытой книгой в руках. Поверх очков видела в пыльном окошке нетерпеливую придурковатую рожицу. С глазками, как дробь. Откладывала книгу, начинала ей, рожице, надписывать десятикопеечные детские билеты. На все сеансы. Улыбалась. Подклеивала билеты в ленту. Как любил Коля. Просовывала всю ленту наружу. После денег Коля доставал из кармана штанов беляш, начинал толкать его в коробку Ивановой. «Беляши! Горячие!» Иванова брала. Удерживала длинный расплюснутый беляш двумя пальцами. Как стельку. Не зная, что сказать ненормальному, кивала. Как только рожица исчезала – сбрасывала беляш в урну для бумаг, вытирая платком пальцы.

А Коля с билетами уже спешил к «Восходу», к лестнице. Круглогодично в полуватных каких-то штанах, набитых постоянно «беляшами», – растарашенный, бедрастый – он двигался как пытящая походная кухня с двумя просаленными прокопчёнными термосами. И вот уже, всё так же растарашиваясь, карабкается по лестнице с чудовищными своими карманами, и кричит: «Где моя Маруська?!» – «Не Маруська, а – Маня», – поправляла его, поджидая в дверях, Маня Тюкова. Принимала билеты, для вида проводила по ленте рукой, как бы отрывая контроль. Возвращала. Коля сразу запускал руку в просаленный свой карман. Выхватывал ей беляш. Длиннее, чем Ивановой. «Беляши! Горячие!» Маня брала. Зная, что и Марке достанется – ела. «Вкусные, Коля, очень вкусные беляши!» – «Беляши-и...», – обзёрно говорил Коля, как будто скармливал Мане не просто беляш с базара с просвечивающими синюшными разводами мяса, а, по меньшей мере... Гвинею!

В зрительном зале располагался в первом ряду. Рядом с Маркой Тюковым. Снимал кепку, обнажив стриженое темечко, похожее на прошлогоднюю стерню. Клал кепку рядом на откидное сидение. Только после этого доставал и вручал Марке беляш. Сам начинал есть. Сразу с двух рук, от двух беляшей откусывал, словно надев беляши на руки, как варежки. Ничего, кроме «беляшей», он, видимо, не признавал. Не ел. Ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. И вообще – никогда! Только – беляши. Он откусывал. Челюсти его ходили, как щитки. Как панцирные челюсти кузнечика-кобылки. В глазах схвачена бодренькая голубизна. Марка бежал в конторку, притаскивал большой графин с водой. Давясь, по очереди запивали. Коля осторожно ставил графин на пол рядом. Снова ели.

Стебловой Коля свои беляши никогда не давал. Не замечал Стеблову. Пожилая Стеблова смотрела, забыв дакнуть кнопку Фомина на начало. Лицо её становилось поджатым. Как ватник. «Два недоделанных сидят... Два друга...» Надавливала, наконец, на звонок.

А Коля и Марка – в первом ряду – всё ели. Мало обращали внимания на начавшееся действие у них над головой. Впереди ещё много сеансов одного и того же фильма... По очереди запрокидывались с графином. Удерживая его, будто жидкую живую льдину. Ставили. Ели.

Нередко перед началом работы приезжал Прекаторос. В окошках аппаратной начинал метаться Фомин, греметь, прятать бутылки. Но Эдуард Христофорович будто не замечал этого, а только озабоченно разглядывал потолок. От плесени потолок выглядел как малахитовая шка-тулка. Грязных разводов на стыках фанеры прибавлялось и прибавлялось... Но, как дружно заверяли его все, жалоб нет, на зрителя не капает...

Шли в фойе, где Эдуард Христофорович выслушивал трепетные отчёты сотрудниц. Потом сам говорил о разном. И опять вроде бы хотел что-то ещё сказать Марии Тюковой, но не уходили, продолжали торчать Стеблова и Иванова-кассирша, и он не говорил. Перебирал в руке, подкидывал ключи от машины, блуждая взглядом, не в силах уйти.

Как всегда высоко задирая сапоги, откуда-то подтяпкивал Коля-Беляши. Радостно, предупреждающе говорил Эдуарду Христофоровичу: «А Маруська моя невеста! Завтра на пяти машинах! В ЗАГС!» И вставал рядом с плечом Эдуарда Христофоровича, сдёрнув кепку. Сам с проросшим темечком насекомого. Словно чтоб сравнили его темечко и смётанный стог Эдуарда Христофоровича. А? Глаза его были как весёлые пульки. Все смеялись, сравнивая. А Эдуард Христофорович стоял, будто насильно приставленный к Коле, не знал что делать. Спрашивал только в сторону от пьесы, есть ли у жениха билет. «Есть, есть! Он всегда берёт! На все сеансы! Сразу!» Коля выдёргивал ленту билетов, вскидывал Эдуарду Христофоровичу. Эдуард Христофорович шёл на выход, помимо воли хмураясь (Чёрт знает что!). А Коля всё поворачивался за ним, как солдат, и вскидывал ему билеты. Как салатовал. Как фейерверками давал. «Завтра! На пяти машинах! Приходи!»

Маня хватала чайник, начинала бегать, поливать цветы на подоконниках. Высокие герани метались, шарахались от её рук как накрашенные гомосексуалисты. Но Маня не замечала этого, всё бегала и поливала. Щёчки Манины горели, она напевала песенку «дёрзкой девчонки».

3

Почти каждый день Мане Тюковой приходилось нервничать возле кассы. Она бегала, дёргала дверь. Заглядывала в окошко, пытаясь разглядеть, есть ли кто внутри... «Без десяти час, без десяти час! А этой дылды опять нету!» Успокаивала двух-трёх зрителей, упрямо требующих билетов. Как колбасы, по меньшей мере. «Не волнуйся, товарищи! Сейчас она, сейчас!» Снова накидывала себя на высокое окошко, пытаясь высмотреть: может, читает свою толстую книгу, дылда чёртова?

Из-за угла парка показывалась Иванова. Длинная, в пышной короткой юбке, она походила на идущее индейское копье... Маня подбегала, начинала отчитывать. Иванова будто и не слышала. Когда открывала ключом дверь, пластмассовые браслеты на её руках и серьги на ушах потрескивали, шумели. Захлопывалась, защёлкнув задвижку. Зрители сразу пристраивались к окошку. Маня тоже стремилась за ними. Выглядывала, подпрыгивала.

После двух-трёх купивших билеты Иванова видела в окне Маню, прилипающую и прилипающую к грязному стеклу. Срывающуюся с приступки и снова запрыгивающую. «Ты что же это, а? Ты что же это? Мне что, Эдуарду Христофоровичу сказать? Эдуарду Христофоровичу?»

Не зная, что ответить, Иванова скашивала губы, отмазанные как у индейца. Выдыхала тихо себе под мышку: деревня чёртова! Брала в нерешительности толстую книгу. «Во, во! –

сразу кричали и подпрыгивали в окне, высматривая. – Читай свою толстую книгу на рабочем месте! Читай!»

Маня бросала непокорную, к «Восходу» бежала, по лестнице каблучки стучали, успевала встретить тех троих с билетами: «Проходите, товарищи, проходите! Сейчас начинаем!»

Чуть погода, открыв свою дверь, выходила с ключами Иванова. Ей нужно было в туалет. Но видела на высоком крыльце Тюкову... Опять отмазанные губы отпускала в сторону: да-а, деревня. Захлопывала дверь.

Кроме чтения толстых книг, Иванова иногда оставалась посмотреть новый фильм. На девятичасовой, на последний сеанс, чтобы увидеть картину по-человечески – от начала и до конца. В такие вечера всегда приходил её муж, научный работник, как окольно удалось узнать о нём Тюковой и Стебловой. Ростом он был ей ниже плеча. С кривоватыми ножками, постоянно потненький, смахивал на жука-рогача. Пока она закрывала кассу, он топтался рядом, потирал в смущении ручки. Детей у них не было... Оба близорукие, садились всегда на четвёртый или третий ряд. Впереди них под голым экраном сидел только Марка, уже качающийся, засыпающий на стуле. Так же, как и Фомин в аппаратной. Которого на последнем сеансе резко мотало. Которому приходилось долго выцеливать кинопроектором зал как непонятную гигантскую мишень. Прежде чем надыбать её, наконец, и запустить аппарат.

Ивановы внимательно смотрели на начавшееся действие. Тесно прижавшиеся друг к дружке, походили на бензиновую зажигалку, у которой зубчатое колёсико всегда выше понурого фитилька.

После фильма, на воздухе, в свете фонаря Иванова надевала принесённую мужем кофту, и муж словно уносил её на руке из парка. Как уносят рыцарское копьё... Стеблова не уставала заходиться в смехе. Глазки её от смеха тонули в лице, будто в стёганой вате. «Ой, не могу! Ой, держите меня!» А Маня Тюкова смотрела вслед всегда с умилением, даже с лёгкой завистью...

Рабочий день закончился. Как конские принадлежности... как стремяна и седло, свисал Фомин из окошка аппаратной... Маня покачивала головой: сказать что-то хотел опять человек, может быть, даже крикнуть, и не смог, сил не хватило...

Со сторожем толкала Фомина обратно, в аппаратную. Фомин вскидывался в окошке. Как птица распростёртая. Как дикий Демон с белыми глазами. Прокрикивал: «Завтра в семь!» Что «завтра в семь», было не понять – да ладно, Фомин уже мотался по аппаратной, шарил по фанерной стене, чтобы выключить свет. Выключал. Гремел, проваливался куда-то. Для спокойной ночи, наверное...

Маня быстренько отдавала все ключи сторожу, наказывала, что, где и как (тушить, звонить пожарным, милицию вызывать). Сама торопилась с болтающимся хныкающим сыном из парка, чтобы ехать скорей домой. «Ма-ам, спа-ать!» – «Сейчас, сейчас! Приедем – и спать!»

На остановке ни души. Фонарь стрелялся длинными трескучими мотыльками. Маня вздрагивала в трассирующих белых полосах, как будто попала с сыном в живую, беспрестанно меняющуюся клетку. Озиралась. Почему зрители так быстро разбежались?

В автобус Марка ещё взбирался сам, а уж на своей остановке, на окраине города – валился со ступенек автобуса прямо матери на плечо. И такого – свисающего, спящего (чистый Фомин, тоже ухайдакался) – мать быстренько несла сквозь репейник к бараку. Дальше по ступенькам, в тёмный коридор. Чтобы пугливым торопящимся ключом открыть дверь, попасть, наконец, в комнату и положить сына на постель. И ещё долго прислушиваться к коридору за дверью, не зажигая света...

4

За городом, на природе, Марка первым делом поиграл в ржавом остове грузовика, вросшего в землю. Он сидел в нём как в безглазом черепахе – тарактел, брызжась слюнями, крутил воображаемый руль. Маня терпеливо ждала, приглядывалась к волнистой местности, которая расстилась вдаль и была странного коричневатого цвета...

Вода в потоке из большой трубы неподалёку шла сизая, пенная. Словно сливали из поддона в бидон парное молоко. На раннем утре... Марка кинулся, упал, зачерпнул кепкой, чтобы пить. Маня еле успела выхватить кепку, выплеснуть всё на траву.

– Ты что – сдурел? Не видишь – откуда течёт?..

Тогда сел на берег и закинул удочку, тут же сделанную из прутика и бумажной верёвки. Молча серьёзно ждал, когда клюнет. На фоне гигантской кирпичной трубы. Всё той же Заразы. Почти под ней.

Маня ходила, корчилась от смеха. «Колю-Бельяши позови! Колю! Рядышком сядьте! С бельяшами! Под трубой!» Марка не обращал внимания на смех. Размокшую леску оборвало какой-то плывущей крышкой. Как клюнуло. Марка выдернул. Разглядывал обрывок лески, ничего не понимая. Маня вообще падала на траву. «Колю! Колю позови! Вместе! Вместе смотрите!..»

Потом мать и сын всё дальше и дальше уходили от города на простор. Рыжие почему-то в мае поляны и полянки здесь, под городом, под заводами, напоминали упитанные коричневые бока коров, разлёгшихся на местности как попало. Однако по мере приближения к ним Мани и Марки, трава каким-то чудным образом зеленела. Становилась похожей вроде бы на настоящую, зелёную. Зато цветов для Мани, чтобы плести венки, росло сколько хочешь: желтовато-золотистые россыпи являли себя солнцу всюду – и там, и тут, и вон на том бугорке, и вон в той ложбинке, – куда ни глянешь – везде!.. Марка вдруг сделался татаринком. С воплем побежал, начал махать саблей, подсекать. Маня закричала, поймала его, надала по попе. Сумку с едой положила под кусты в тень, начала нагибаться, срывать, набирать в руку длиннохвостые пучки.

Неподалёку Марка сердито маршировал. То на месте, то двигаясь вперёд, а потом назад. Сабля торчала из кулачка как-то вяло, даже согнулась посередине. Напоминала собой что-то не совсем хорошее и пристойное. Но Марка опять кидался. Начинал махать по цветам – Маня кричала, топала ножкой, и он снова ходил вперёд и назад, как бы нагнетая в саблю силы. Словно чтобы она резко выпрямилась, восстала...

Вышли из города два облачка. Как два чумазных беспризорника. Которые отродясь не бывали за окраиной. И радостно онемели перед расстелившимся простором коровьего цвета: вот это да-а, чудеса-то, оказывается, какие бывают... Маня поглядывала на облака, посмеивалась, пригибалась, рвала. Она с Маркой прошла уже путь удивления и радости, как проходят теперь его эти два чумазные облачка. Потом на приподнятом, в кустиках, берегу просыхающего болота, которое было набито автопокрышками и торчащим железом, сидела на траве, побросав ножки, и с любовью выплетала первый свой в городской жизни веночек.

Густо и мелко просверкивала под солнцем зелёная парча болота. Всюду её прорывали, вспарывали лягушки, раздуваясь, как мячи, верещали на всю округу, требовали любви. Обрывая крики, проваливались, тонули, словно оставляя чёрненькое страстное дыхание своё над болотом, которое через миг испарялось, и выныривали в других местах, чтобы заорать ещё пуще... Казалось, что всюду в парчу болота медленно падал и тонул крупный, верещающий трелями дождь...

С недовязанным венком на коленях Маня слушала и улыбалась. Марка смутно чувствовал какое-то стыдное хулиганство на болоте – пулял туда камнями.

– Марк, а Марк! Тебе нравится Эдуард Христофорович? – спросила лукаво Маня, когда тот поднялся наверх, недовольный, что кончились камни, а Эти орут, продолжают орать. – Правда – хороший?

– Не-е, – не по-детски сразу понял вопрос Марка. – Папка лучше.

Оба молчали. По-прежнему летуче свиристели лягушки. Словно кричащие китайские тарелки на бамбуках над болотом гоняли...

– Чем же он лучше-то?.. Бросил тебя...

– Не-е, лучше... – Марка посмотрел, поправил саблю на боку. Сабля мало уже походила на яхту. Сабля теперь напоминала соплю. Как её каждый раз обзывала баба Груня. («Где сопля-то твоя? Надевай!») Но всё равно была ещё хороша. – Даже Коля-Бельяши – и то-от... Намного лучше!

– Ну сказал, ну сказал! – излишне громко и поспешно засмеялась Маня.

– А что? Бельяшей всегда полные карманы. Ешь от пуза... Лучше Христофора. Намного. Маня всё смеялась. Как плакала. Кусала губы...

Потом они ели, разложив на белом платке варёные яйца, редиску, колбасу, хлеб. Запивали из тёмной толстой бутылки кипячёной водой. Вдали на взгоре виднелся родной барак, бурый, пришибленный. Мотало, как оборванные паруса, простыни на верёвках. По горбатой дороге бегали машины...

Когда уходили с полей, спускался вечер. Аляповато, как попало, разрисовало павшее солнце облака в небе. Для завтрашнего ветра побросало всё, для завтрашней ветреной погоды. Как бы – так сойдёт...

Маня и Марка молча, устало, шли рука за руку по вечерней просвеченно-знойной траве, смотрели на свои мотающиеся длинные тени, искажённые венками, как на кольца с кольцами в парке...

5

...Когда Маня надавила кнопку звонка, за дверью вдруг заверещала лягушка. Как на болоте за городом. В точности. Звонки – как лягушка! Маня отдернула руку. Хотела повернуться и малодушно бежать, но дверь раскрылась, и появился Эдуард Христофорович. Такой же испуганный, как и Маня. Отходил, оскаливал улыбку, приглашал. И Маня, судорожно вдохнув, как в ледяную воду, за руку с Маркой шагнула в раскрытую дверь... В большой, освещённой плафоном прихожей – сдернула туфли. Начала снимать сандалии у Марки. Новые сандалии не поддавались. Один снялся, другой – никак. Маня дёрнула за ремешок, поддавливала его снизу, ничего не соображала. Нежный Маркин животик касался её лица, защищал от Эдуарда Христофоровича. Тот говорил, что ладно. Пусть так идёт. Что ничего. Марка дёрнулся было, чтобы идти. В одном сандалие. Маня не дала. Упорно высвобождала ножку, дёрнула ремешок. Сняла, наконец, сандалик! Вот он! Вы уж извините! Ничего.

Только двинулись за хозяином – оба в носочках, любопытные – как появился откуда-то большой кот. Меняющийся, как дым. С требовательным наглым мяуканьем, не обращая никакого внимания на гостей, он протянул мимо них к боковой закрытой двери. Не переставая орать, дождался, когда её откроют, включат свет – и вот уже горбатится прямо на унитазе, на краю. Хвост дёргается вверху, как опахало. Мьяорр! Марка и Маня Тюковы вытаращили глаза: такого фокуса не видели никогда. Что сидит-то. Как настоящий культурный человек. Никогда-а. «Вот, – показывая на кота, самодовольно сказал Эдуард Христофорович. – Приучил. Удобно». Кот продолжал висеть и орать, будто наказанный. Выяснилось, что зовут его Колизей. Что такое «колизей», Маня забыла, а спросить не осмелилась.

После того, как кот отбомбил и всё было смыто, гости несколько испуганно ступили, наконец, в первую комнату. Точно экскурсовод в музее, Эдуард Христофорович показывал им

на две деревянные кровати в стёганных атласных одеялах и с двумя подушками на них, как с дамами. Потом на большие две тумбочки возле кроватей, расписанные крупными цветами, похожие на фокусные ящики для отвода глаз...

На склонившейся со стены картине шароваристые разбойники тащили за руки голых орущих невольниц к своему главарю, тоже шароваристому, в чалме и с распущенной саблей присевшему на камень на фоне водянистого моря и далёкого корабля на нём со свёрнутыми парусами... Эта комната была спальней Эдуарда Христофоровича.

А дальше попали в кухню, где у Мани голова пошла кругом – целый алтарь из всяких расписных досок-вёсел на стене! Маня никогда и не видела столько. Не говоря уже о висящих рядах поварёшек, сковородок, ножей, больших вилок! По которым хотелось постучать маленькой палочкой. Чтоб музыка была. И шкафы, тоже на стенах, и кафель кругом, и чистота, и порядок. И всё кругом сверкает, блестит. «Люблю, знаете, готовить», – небрежно сказал Эдуард Христофорович. А у Мани голова всё кругом шла...

В гостиной всё было как-то низко и толсто – и сложенный, как тумба, стол, и мягкие кресла, и телевизор. А по стенам, наоборот – высоко, раскинуто: и ковры, и светильники, и фотографии. А люстра на потолке походила на лицо царевны в жемчугах... И ещё одну большую картину увидели тут. На этой картине изобразили белозубый Кавказ, а возле Кавказа – хмурый горец в лохматой бурке, опёршийся на высокую загнутую палку... И барашки, барашки под ногами у него, будто горные речки и ручейки, бегущие куда попало... Маня и Марка были посажены на пуфики напротив картины.

Хозяин торопливо носил из кухни на низкий полированный стол всё для чая. А кот Колизей в это время ходил и ворчал под кинжалом в ножнах и рогами-кубками, развешенными на ковре. Ходил и ворчал как куняк. Туда и сюда по спинке дивана. Туда и сюда. Оберегал богатство с Кавказа, пока нет хозяина. Словно не давал смотреть на него Мане и Марке. А те старались не смотреть. Не шевелились даже...

Чай Эдуард Христофорович разлил в три больших стакана с красивыми подстаканниками. Взял с тарелки жирный пропотелый лимон. Разрезал его в блюде пополам. А потом уже ломтиками для чая. «Угощайтесь! С чаем очень полезно. Я всегда употребляю». Затапил себе в стакан толстый ломоть, начал намешивать, надавливать ложечкой. Маня осторожно – двумя пальчиками – сняла с блюда и кинула себе и Марке по ломтику. Марка сразу начал накручивать своей ложкой и подглядывать в стакан. «Не шуми!» – остановила его мать. «Пусть шумит, – сказал Эдуард Христофорович. – Это ничего». Избегал смотреть на Маню, всё время оглядывал свою комнату, будто в первый раз видел. При моргании веки больших выпуклых глаз его медленно смыкались. Как скорлупа от грецких орехов. И вновь раскрывались широко. Будто у дозорной усталой птицы. Разговор не клеился. Один Марка не был этим угнетён – прилежно ел. Сперва кекс, потом пирожное. Всего навалом. Как у Коли-Бельяши. Правда, не в карманах – на столе. Зато всё разное.

В углу, неизвестно когда включённый, дёргался изображением телевизор. Плоский. Как амёба немая. «Звука нет, – пояснил Эдуард Христофорович. – Сломался». С готовностью все трое выстроили в сторону телевизора головы... «А вы на гармошке не играете? Эдуард Христофорович? Нет у вас гармошки в доме?» – «Нет, – удивился Прекаторос. – Никогда не держал». – «А я люблю, когда на гармошке. Любо душе – когда на гармошке. Хоть страдание какое, хоть частушку...» Эдуард Христофорович сказал, что у него есть проигрыватель. И все вальсы к нему. «На сопках Маньчжурии», к примеру, «Дунайские волны». «Амурские». Предложил поставить. Выключил телевизор, включил аппарат. Поставил «Амурские волны». Не забыл раскрыть на улицу оба окна. Чтобы и там было слышно. Вернулся. Мощно – запел хор. Прослушали все три вальса. Веселей от этого не стало. Марка всё навораживал.

Проводить гостей Эдуард Христофорович не догадался, а может быть, постеснялся соседей, и мать и сын опять стояли одни на остановке, где торчал только столб с погнутой проржа-

вешей жестяной. Было часов семь вечера, но откуда-то натащило сажных туч, стало холодно, сыро, как в погребке. Быстро собиралась большая гроза. Маня испуганно поглядывала на железные крыши одноэтажных домов, на небо над ними. Прижимала сына к себе, но побежать к дому Эдуарда Христофоровича – единственному здесь трёхэтажному, сталинскому, с подъездом – не решалась, там из двух раскрытых окон третьего этажа по-прежнему мощно ревел хор, исполняя «Дунайские волны». Потом выглянул сам Эдуард Христофорович, повертел головой – и быстро закрыл оба окна...

И вот колюче-длинным белым зигзагом разодрало черноту, и со страшным треском, грохотом обрушило на железные крыши домов острый чёрный лес дождя. Дом неподалёку на бугре торопливо выхватил водосточную трубу и разом отпустил неудержимую струю на землю. Как в испуге не удержавший мочу старик. Да при всём-то честном народе! Маня освобождено кричала что-то дождю, черноте, молниям, чуть не пела, подпрыгивала. Но перепуганный Марка ухватился за неё, и она разом затихла, сломилась к нему, прижала его головку к себе, плача...

Под этим водопадом промокли мгновенно, до нитки. Так и побежали к автобусу – в длинноруких растопыренных мокрых одеждах...

Босые, удерживая обувь в руках, быстро шли вдоль горбатой дороги вниз, к пролезшему из-под туч, очень близкому и сильному закату солнцу. В его лучах на асфальте танцевали тонконогие мелкие комарики остатного дождя.

Потом свернули от дороги к бараку – и, прежде чем попасть на крыльцо и мыть в корыте ноги, долго разъездовали ногами на глине среди мокрых кусучих репейников.

6

И во второе посещение Эдуарда Христофоровича, через неделю, когда в прихожей снимали обувь – Колизей, задрав хвост, демонстративно шёл мимо. На гостей не глядел. Злой. Как прессованный дым. Утиснулся в туалет. Опять всем открытый – на унитазах зло орал, дёргая вверху хвостом: Мяорр! Это уже была демонстрация. Вызов. ЭТИХ гостей – он на дух не переносил! Эдуард Христофорович хотел прикрыть дверь – кот заорал ещё пуще. Как бы крича: не смей! Клаустрофобия! Пришлось покорно ждать... Мяорр!.. Однако когда закончил демонстрировать, в большую комнату пёрся со всеми. Бежал. Норовил даже прорваться меж ног идущих вперёд. Видимо, чтобы опять охранять рога и кинжал на стене.

Однако в комнате Эдуард Христофорович безжалостно скинул его с дивана, начал судорожно, молчком раскрывать какой-то чёрный футляр с блестящими двумя замками. Гармошка оказалась внутри! Сверкала, как перламутром вся отделанная! Настоящая, новая! Маня так и ахнула. А Эдуард Христофорович, предварительно кинувшись и распахнув окна, по-прежнему судорожный, молчащий, сел на стул, налаживал её на себя. И вот уже потянул, охватив обеими руками сразу половину кнопок. Заиграл пока что как попало. Просто так.

Себе в изумление... кот Колизей вдруг заходил-запрыгал в краковяке. Кота словно подсоединили к исковерканной мелодии Эдуарда Христофоровича и начали бить ею. Будто током! Как только мелодия оборвалась – с пропадающим, не кошачьим воплем кот побежал из комнаты. Маня и Марка смело рассмеялись: какой нервный!

– Ничего, – сказал Эдуард Христофорович. – Он уже два дня так орёт... Привыкнет... – Начал прилаживаться к гармошке по-настоящему, серьёзно.

На толстых коленях Эдуарда Христофоровича гармошка казалась детской, игрушечной. Большие пухлые руки теснили, вставляли толстыми пальцами на кнопки – как встают слоны на пеньки-тумбы в цирке. Будто на представлении. Раздумывали, срывались, не попадали куда надо. Слуху у них явно недоставало. Эдуард Христофорович, вытягивая шею, разглядывал руки, прикидывал, что с ними делать, продолжая ворочать, ставить. Но Маня Тюкова не уста-

вала ахать и всхлопывать ладошами. «Научусь, – говорил гармонист, прервавшись и отирая пот со лба платком, – самоучитель надо. Быстрее тогда. Куплю». Маня с ним горячо соглашалась: «Конечно, быстрее! Конечно, быстрее! По нотам же!» На лице гармониста появлялось сомнение, неуверенность. Насчёт нот, чтоб по нотам – он не знает, по «цифровой» какой-то ему сказали. По системе. И «Амурские» можно, и «На сопках», наверное. Конечно, по цифровой, конечно! И «Амурские», и «На сопках»!..

Словом, гармошка пока была отложена, но не в футляр, а – рядом. Хозяин начал носить из кухни на стол разные кушанья. На сей раз он решил угостить Марию Тюкову с сыном настоящим мужским обедом. Были тут и разные салаты: и овощные, и мясной, и рыбный, колбаска копчёная и сыр, и томились на кухне в кастрюльке почки под соусом собственного изобретения, графинчик даже с коньячком появился на столе, и газировка для Марки, и ещё многое другое. И гости только поворачивали головы, в восхищении следя, как прибывает и прибывает на столе.

Коньяк наливал Эдуард Христофорович в крошечные серебряные рюмочки, отделанные микроскопической чеканкой. «Грузинские», – пояснил он. Потом сказал, что всё, что висит по стенам, он тоже привёз с юга: и рога... (кубки, понятное дело), и кинжал, и картину с горцем, и рюмочки вот эти, и ещё всякую всячину. Ну, ваше здоровье, Мария! Очень укороченно, осторожно – чокнули эти две рюмочки. Марка держал большой фужер как кубок – в кулаке. Ему тоже осторожно чокнули в стекло. Маня потянула как валерьянку, а Эдуард Христофорович – лихо хлопнул. Запотирал руки с намерением накинуться на салат из помидоров, заправленный сметаной. С аппетитом ел. Не забывал подкладывать разносолы и Мане с Маркой.

После двух выпитых махоньких рюмочек Эдуард Христофорович стал разговорчивее, можно сказать, разошёлся, рассказывая о себе. И даже сбегал, принёс из спальни складной фотопортрет покойной жены, который в прошлый раз Маня не заметила, и который можно поставить где угодно, подпирая только каждый раз сзади ножкой из никелированной проволочной стали... На Манию смотрело большое женское лицо. Словно из семейства бобовых. С выпученными, как у Эдуарда Христофоровича, глазами... Маня сказала, что красивая. Даже пожалела, что не встретились, не пришлось. (Был бы фильм, надо сказать!) Эдуард Христофорович с облегчением выдохнул. Портрет не понёс в спальню, а установил на столе. Снова стал накапывать в рюмочки как в лекарственные, высоко поднимая их и словно бы проглядывая на свет. Рюмочки в руках у Эдуарда Христофоровича поблёскивали.

Марка влюблённо загляделся. Хотел налечь на столешницу, чтобы лучше видеть... Локтем задел фужер. Длинноногий фужер как-то медленно, как самоубийца, полетел вниз жёлтой головой и жахнулся о паркет... Эдуард Христофорович побледнел. Резко взмахнул рукой – то ли треснуть хотел сразу пригнувшегося Марку, то ли погладить... Потом потрогал его... за плечо. Ничего, ничего, бывает. Пошёл на кухню за тряпкой, веником и ведром. Однако после этого стал хмурым и уже ничего не рассказывал. Даже во время чая, помешивая ложечкой. Маня тихо, усердно старалась. Дёргала Марку, не давала есть: что ты наделал! что! Оплотность разрасталась в событие, событие – в катастрофу. Ничего, бывает. Сколько я тебе говорила! Как надо сидеть! Как! Бывает. Ничего.

Марка сидел, не знал: то ли жевать ему, то ли не надо. Готов был уже заорать и бежать. Как кот Колизей... И только в прихожей Эдуард Христофорович опять стал улыбаться и даже посмеиваться, говорил ползающей у ножек сына с сандалием Мане, чтобы приходила ещё, опять в понедельник, в свой выходной. Что уж к следующему разу он, Эдуард Христофорович, вальс «Амурские волны» освоит точно, вот прямо как уйдут они, сразу и начнёт тренироваться, то есть упражняться, если правильное сказать...

Опять стояли одни на остановке. Дождя, правда, на этот раз не было. Можно стоять. Из раскрытых двух окон третьего этажа с новой силой, с новым упорством и воодушевлением от гармошки на лицо вылетали и обрывались... лезли и рвались курбóченные «Амурские

волны». А по крутому карнизу окна, будто циркач, загнанный на последний канат, который вдобавок ещё и сильно раскачивали, дёргали, ходил и орал кот. Словно просил, словно умолял, чтобы его сняли оттуда, чтобы спасли ему жизнь...

На другой день, перед работой, пили чай с Кулешовой, соседкой, в её комнате. Кулешова выставила банку нового варенья, присланного дочерью из Сибири. Облепихового. Марке сразу понравилось облепиховое. И Марка его полюбил. Никогда не ел облепихового! Ешь, ешь, сынок, подкладывала ему в розетку Кулешова, мазала ему же масло на хлеб, снова подкладывала, ешь. Марка ел облепиховое. Облизывал ложечку. В благодарность за облепиховое рассказал бабе Груне про кота Колизея. Как тот какает на унитаза. А потом танцует. Под гармонь. На которой играет дядя Эдуард... Шкодина!

– Та-ак... – протянула Кулешова. Повернулась к Мане.

Маня опустила голову, покраснела...

– Ты что же это, а? – принялась за неё Кулешова. – Хвост задрала, да? А сына куда денешь, сына-то? Вот его?.. Там-то хоть – отец, может, вернётся, заберёт... А – этот? Подол тебе раза два задрать?..

– Гармошку купил. Завлекает... – винулась Маня.

– Э-э, «гармошку купил», «завлекает». Да о чём ты думаешь? Ты вот о нём, о нём думай! – дёргала Кулешова Марку со счастливым, перемазанным вареньем лицом. – Вот о нём!.. Полюбит лысый твой Эдуард его, полюбит? Как отец? Отвечай! Полюбит?..

– Он не лысый... – слабо защищалась Маня. – У него волос ещё сильный...

– Да какой не лысый! какой не лысый! Нагородил шалаш дырявый на голове и думает: не лысый я! сильный!.. Да он же года на два только моложе меня! Мне шестьдесят два, а ему сколько? Узнавала?.. Да пусть, пусть даже! Даже сойдётся вы с ним – пусть! И – что? Полюбит он его? – опять дёргала Марку, который обсасывал уже целую столовую ложку после варенья. Как медвежонок лапу. – Полюбит он его? Честно? Как на духу?!

Маня вспомнила, как Прекаторос взмахивал рукой над пригнувшимся Маркой, когда тот разбил его фужер, – то ли ударить хотел, то ли погладить. Потом потрогал только за плечо, словно опомнившись...

– То-то! – подвела итог Кулешова, точно разом увидела вместе с Маней всё случившееся за столом у Прекатороса. – А я смотрю, что это она опять железки-то свои по утрам цеплять стала? К чему бы это, думаю? (Маня схватилась за две-три «бигудины», висящие на ней. Как поймала их. Как спрятала их в руке.) Э-э, кулёма, думай лучше! Такого мужика решила променять! (Имелся в виду Филипп Петрович, первый муж Мани. Как будто он только и думал, чтоб его «не променяли».)

Дальше Кулешова внушала Мане, какой хороший человек Филипп Петрович: он и отец Марке, и ей, Мане, муж. Будет. Опять. Наверняка. Покхёкав, побегав взглядом по столу, призналась Мане кое в чём. Оказывается, Филипп Петрович был здесь, в бараке. У неё, Кулешовой. Угу, подтвердила старуха вскочившей Мане. Приезжал. Днём. На грузовике. С шофёром.

– Да что же он к нам-то не зашёл? В «Восход»?! Почему не сказали, что мы там днями?!

– Всего на час-два приезжал в город. За чем-то. Сразу назад. Ну и заскочил. На пять минут. Поговорить со мной. Специально, конечно. Расспрашивал про Марку. Что и как. Интересовался, куда алименты идут. Почему Марка плохо одет? Хорошо ли питается? Не возмущайся! Он имеет право спросить. Ну, я самое хорошее про тебя: только сыну всё, только сыном и живёт. (А ты – вон она!) В общем, уехал с большой думой. Не иначе – сойдётся с тобой. Вот помянешь меня – сойдётся!

– Что же вы скрыли-то это всё от нас? Что был? Что интересовался?

– Зачем же – скрыла? Через неделю бы и объявила. На дне рождения... – Кулешова встала, выдвинула ящик комода, достала детский костюмчик и детские чёрные валенки домаш-

ней катки с галошками. – Вот вам, голубка Мария и маленький свет Марка, от сокола вашего Филиппа – на день рождения Марки. С поклоном!.. Так и велел передать.

Перемазанный вареньем Марка перестал есть. Маня же подхватила подарки, как упавшие с неба.

– И такого сокола хотят променять... – уже как посторонняя всему, как бросившая всё у стола, сморкалась в сторонке Кулешова. Затем быстренько подседа опять к столу, принялась доносить всё в подробностях: что говорил, как говорил, и даже – зачем говорил. Маня, мало что соображая, покорно кивала.

Долго, отупело, всё переваривали. Потом пили вновь подогретый чай. Почти молчком. Марка неустанно лазил большой ложкой в ополовиненную им банку. Манины бигуди забыто покачивались, как несколько не сбитых ветрами серёжек на прядях весенней ивы. С блюда Кулешова делала большие глубокие глотки. Лицо Кулешовой стало умиротворённым в зобу. Как в запруде.

На своей остановке Маня автобуса ждать не стала – ходит редко, как вздумается – потащила Марку вдоль дороги к следующей, там ещё один маршрут, там – чаще.

– Мам, а правда – облепиховое вкусное?..

– Правда, – рассеянно отвечала мать. Голова её была переполнена рассказанным старухой. Оно и радовало её, и... злило. Куда алименты, видите ли, идут? Как кормится Марка? Присылает двадцать три рубля – и спрашивает!

– Мам, а правда?..

– Правда, – Маня чувствовала, что несправедлива к бывшему мужу, что такого отца у Марки никогда не будет – и злилась: как кормится Марка!

Марка тащился материнной рукой как жёсткой верёвкой. Словно перетянутый ею, откидывался головой к дороге. Везде неслись, пердели грузовики. Как будто портки поддёргивали – и надавали дальше! Вдруг увидел машину с длинной гофрированной трубой, уложенной по боку бочки... Задёргал материну руку:

– Мам, а это случайно не облепиховое везут?..

Маня остановилась. Глянула мельком...

– Нет... Это говновоз... С кишкой... Отстань! – Потащила опять.

Хм. Говновоз. С кишкой. А могли бы и облепиховое везти...

– Мам?..

– Отстань!

Маня тащила за собой сына вдоль горбатой дороги. Навстречу Мане дул сильный ветер. Слегка раскосые несловимые глаза её словно искали в нём что-то, боялись пропустить, мучались... Господи, как жить! Что делать дальше!..

2. Марка Тюков. Он же – Тюка. Он же – Лёлин

В темноте из угла комнаты электрообогреватель мерцал с алчностью скелета, высунувшегося из земли на кладбище. Всю ночь мать подтыкала сыну ватное одеяло, которое тот всё равно спихивал, спиноывал – ножонки в шерстяных носках и трико опять разбрасывались вольно.

Ранним утром, попив чаю, Марка говорил себе: «Я разогрелся... как лампочка... Да, как лампочка». Потом поворачивался и, оперев руки в коленки, как перед большой работой смотрел на раскрытый ранец, в который надо складывать разбросанные на столе учебники и тетрадки. Мать поторапливала, щупала озабоченно батареи.

Люди из барака шныряли в темноте двора к уборной и обратно, знобясь как призраки: мужчины роняли у крыльца папироски, женщины одёргивали платья на тёплые после сна, прихватываемые морозцем ноги. Марка выбирался по хрустящей мартовской тропинке на дорогу, шёл вдоль неё тянучим взгором к школе. Шарф подпирал, колол подбородок, щёки тёрла завязанная наглухо ушанка; словно посторонний, привязавшийся в попутчики, сзади в ранце бабáхался пенал.

В меркнушем выдохе рассвета, на просеянном зимнем тополе во дворе школы сонно пошевеливалась проснувшаяся стайка воробьёв... Марка стоял под тополем, под воробьями и словно бы раздумывал: идти ему в школу или нет? Мимо торопились, похрустывали ледком дети... Марка подкидывал ранец на горб, повыше, как, по меньшей мере, тяжёлый рюкзак, и тоже шёл, отставая от всех, к двухэтажному зданию.

В сквозящих в раме счётах возле доски было что-то от птиц. Что-то от нанизанного на проволоки костяного щебетанья. В хвостатой гимнастёрке, отставив ногу назад, в позе гнутаго худенького аистёнка Марка стоял перед ними. Нужно Отложить Двенадцать, а от двенадцати Откинуть Три. Сколько тогда получится?.. Марка подносил руку к кругляшкам – и отдёргивал руку. Уже как от огненного шашлыка. Точно обжигая пальцы. Нет, не берётся, не получается...

– Таня! – сказала учительница от стола.

Белобрысая девчонка с первой парты выбежала, мгновенно отстучала на проволоках костяшками ответ:

– Девять!

– Молодец!

Учительница смотрела на Марку...

– Эх ты... Тюков...

«Тюка! Тюка!» – бесновался, покатывался класс. Марка уныло стоял, свесив голову.

– Приведи мать, – говорила учительница.

На перемене Марка чинно ходил по коридору, заложив руки назад, на хвост гимнастёрки. Одна половинка двери 4-го «б» класса напротив – резко распахивалась. В дверях начинали колотиться серые мальчишки в пионерских галстуках – как мыши с красными языками. Марка сразу пригибал голову, но всё равно получал сильный щелбан в макушку. Сам тоже весь серый, но без пионерского галстука – он был среди красных язычков точно разжалованный. Точно разжалованный в рядовые. Ловил, ловил щелбаны! (Каждый язычок на Тюке торопился отметить! Каждый!) Пока не юркнул в свой класс. Как в крепость заговорённую. А-а, теперь не тронете! И верно: в класс никто из красных язычков не заскакивал. Можно было даже, поглаживая защибленное на голове, показывать им языки. Не красные, правда, как у них – сизые, но всё равно: а-а!..

После школы Марка бодро шёл по обочине горбатой Нижегородной вниз, поддёргивая за ремни тарахтящий пеналом ранец. Слева в овраге дымились от солнца по-весеннему раздетые и озябшие домишки, сараюшки, дворики. Солнце играло с Маркой в жмурки.

Абсолютно чёрные, будто горелые, лепёшки мартовского снега на пустыре возле барака походили для Марки на кладбище спящих ёжиков. Ёжики – и спят будто на кладбище. Даже не занеся ранца домой, Марка ходил и совал, стучал ногой в чёрные колкие корки – пока нога не проваливалась, обнажая белые внутренности ёжиков. Марка ещё совал, ещё. На штанину Марке нацеплялись целые ожерелья грязного брильянту, снег лез, набивался в ботинок, но Марка не чувствовал холода: бил ногой чёрные корки. И везде получалось одинаково: внутри ёжиков – белое.

За Маркой перебегал маленький Толик, тоже житель барака. В натянутой на большую голову шапке, будто в шлеме мотоциклист, приседал к белым дыркам, пробитым Маркой, разглядывал. А Марка неумоимо совал ногой рядом, новые дыры бил.

От барака кричала Марке Кулешова. Ругалась, топалась ногами. В одном лёгком халате, похожая на вынесенную на крыльцо, беспокоящуюся розвесь с окна. И-иди сюда! И только тогда Марка почувствовал, что левая нога его стала будто кулестая заледенелая палка. Вот да-а! Приходилось идти, ковылять к крыльцу. Толик продолжал приседать, разглядывать. Дыр Марка набил много.

Кулешова колотила о крыльцо Маркин ботинок. Зоб Кулешовой болтался, как творог в тряпке. В упавшем халате светило солнце. Узлы и шишки на заголившихся ногах светили синим. Как незабудки. Потом Марка с тётей Груней обедал. Мать Марки была на работе.

На другое утро, после двух глотков чаю, Марка опять говорил, что он разогрелся, как лампочка. Снова, как перед дальней дорогой, смотрел на не собранный с вечера, зевлástый ранец, оперев руки в коленки...

Поскальзываясь, шёл по подмёрзшему вдоль горбатой дороги наверх к школе. Печные трубы на домишках роняли дымы, будто спящие коты – сны. Месяц вверху болел ангиной. В ранце колотился пенал...

2

В конце апреля класс разучивал нужную всем, как сказала Учительница, песню. Учительница, покачивая головой, планомерно ходила между рядами. Иногда, подстёгивая певцов, принималась резко дирижировать и сама громко петь слова. Что-то в пении Тюкова Учительнице показалось подозрительным. Она отмахнула старающемуся классу: тихо! Тюков, пой один! Встань. Припев.

Завитые локоны её замерли. Как рыжие звоны, как колокольцы.

Марка запел, выкарабкиваясь из-за парты:

...Лёлин всегда со мной... Лё-ли-ин...

– Ещё раз! – было приказано.

...Лёли-ин всегда-а со мно-ой! Лё-ли-и-ин... – старательно, как все перед этим, выводил-вытягивал Марка.

– Что ты поёшь?! Что?! Какой Лёлин? Какой?! – как будто ударило всё, зазвенело на Учительнице. – Ты знаешь, кто это? Знаешь?

– Знаю...

– Кто он? Кто?

– Волшебник...

Учительница заходила взад-вперёд возле стола. Услышанное не вмещалось в голову. Учительница не находила слов. Вскидывала глаза к потолку: «Волшебник, ха-ха, Лёлин, нужная

всем песня!» Резко остановилась, приказала классу сказать этому Тюкову – кто это!.. Три-четыре!

– Ле-енин! – громоздко, разваливаясь, прогромыхало в классе.

– Ещё раз... Громче!

– Ленин!!! – дружно прогрохотал класс.

Марка виновато слушал.

Через день вызванная в школу мать («Это же в голову не укладывается! На 51-м году Советской власти! на 51-м!! Вы где жили? где?!») по дороге домой втолковывала сыну приглушённым голосом, будто бы пропуская слова через нос: «Не Лёлин – а Ленин... Понял?.. Дедушка... Ильич... Понял?» Поглядывала на встречных, боялась, что услышат...

Дома, наученный матерью, Марка, как скворец крылья, прижал руки к ногам и прокричал старухе Кулешовой:

– Тётя Груня! Христос воскрес!.. Воистину воскрес!..

(Ни того, ни этого не знает! Ну, Марка!)

– Да миленький ты мо-ой! – умиляясь, запела Кулешова. Крепко поцеловала мальчишку три раза, скороговоркой бормоча «воистину, сынок, воистину воскрес, воистину». Сразу же одарила крашеными двумя яйцами. Бурым и синим. Встала, расцеловалась с Маней, всё так же скоро говоря и наматывая быстрые кресты.

А Марка – во дворе уже – стучал яйцо в лоб Толика. – «Христос воскрес!.. Понял?» Четырёхлетний Толик молчал.

Голова Толика была размером с небольшой баул. Он осторожно откусывал с рук Марки от облупленного яйца. Вместе ели. Второе яйцо Марка стучал о Толикову голову сверху. В темя. Толик вслушивался.

Потом Марка побежал и вынес кулич. Толик ел кулич так же осторожно, вдумчиво. Сильно покачиваясь, на крыльцо вышел отец Толика, водопроводчик Шанин. Лицом Шанин походил на мятую копейку. Он сел на крыльцо сбоку, начал выковыривать из пачки папироску. Толик подбежал к нему, забубукал что-то, показывая на Марку. Шанин похлопывал сына по плечу, согласно кивал. Чиркнул спичкой с горбатой головкой. Промазывая папиросой, прикуривал от большого огня, будто от знамени, цепляя им ресницы, брови, опаливая их. Смотрел на Толика и Марку, полностью преобразённый. С глазами – как с цыплятами.

Выходила Надька, его дочь, а Толику сестра, уводила отца в барак. Марка и Толик бежали на пустырь играть.

... В ясные дни кирпичные две трубы до неба, казалось, стояли прямо на школе, как будто на фундаменте для них. Майский тополь внизу был красивый и пёстрый, как петух. Ребятишки под руководством Учительницы ходили за руки вокруг тополя, водили хоровод. «Испекли мы кара-вай (шли вокруг тополя), испекли мы кара-вай: вот такой вышины (поднимали сцепленные руки к небу), вот такой ужины (пригибались и бежали к тополию, к Учительнице), вот такой широты (шарахались от тополя, рискуя опрокинуться), кара-вай, кара-вай, кого хочешь, выби-рай!» Разом останавливались, подпрыгивали и кричали: «Тюку! Тюку! Лёлина!» Вытолкнутый серенький мальчишка скукоженно вставал рядом с Учительницей. Учительница взмахивала рукой:

И-испекли мы кара-вай, и-испекли мы кара-вай...

Потом налетал ветер. И тополь начинал шуметь пёстрыми свернувшимися листьями как консервными банками. «В класс, дети! В класс! Сейчас будет сильный дождь!» Все бежали к крыльцу. А тополь всё гремел. Перед кислотным дождём – нетерпеливо-безумный, как алкаш...

Дома, прибежав с Толиком к репейникам, Марка сразу увидел висящий на репьях слипшийся сморщенный мешочек. Резиновый, длинный. Белый, как молоко. «Крёстный!» Так всегда говорили про него в бараке взрослые. Особенно часто баба Груня Кулешова. Поглядит Толика, сокрушённо оглядывая его большую голову, которая, казалось, всё растёт и растёт, и скажет непонятно: «Крёстный гаду Шанину помог...» Марка хватал крёстного и бежал на улицу к колонке, чтобы хорошенько там его промыть.

Давал Толику. Толик осторожно дул в крёстного. Надувал до размера длинно повялого фаллоса, который, в свою очередь, напоминал тощий фаустпатрон. Долго удерживал его у рта. Словно смутно чувствовал с ним какое-то космическое единство, родство... «Дай сюда! Не умеешь!» Марка выхватывал крёстного у Толика. Сам дул. Закручивал хвост, не выпуская воздуха. На! Толик разглядывал у себя в руках раздутый эллипс. Словно вторую свою голову. Бубубукал что-то. С шумом шар вырывался из его рук, быстро сдувшись, гас. Толик начинал тяжело, неудержимо плакать. Приходилось Марке снова надувать. На! И так несколько раз.

В конце концов шар лопнул. Передул Марка. Перестарался. Долго, внимательно разглядывали в руках рваные охвостья. От удивления Толик даже не плакал. Но... но теперь же можно и другую игру с остатками крёстного начать. Нужно только затянуть в себя резины, поглубже, с воздухом затянуть, и быстро закрутить охвостья. Так. Готово. Маленький крёстненький получился. Прозрачный. Как космонавт.

А вот теперь-то будет с ним самое интересное, самое шkodное. Марка и Толик начинали подкрадываться. К Надьке. Прыгающей через скакалку за простынями.

Простыни на верёвке провисали. Словно паруса целой флотилии, после бури полёгшие в сон. Марка и Толик подкрадывались к беспечно подпрыгивающей Надьке. Ехидненько поглядывая из-за простыни, Марка пошоркал крёстным о ладошку. Так подманивают манком уток. Надька сразу перестала прыгать, беспокойно завертела белобрысой головой. (Марка и Толик замерли.) Но всё вроде бы тихо. Успокоилась. Показалось. Скакалка продолжила хлёсткий свой лёт. Марка и Толик дальше подкрадывались. Марка опять потёр крёстным. Сардонически. Как на мудях заиграл.

Надька испуганно заоглядывалась, не зная, с какой стороны нападут... И... и... и с воплем выбегали разбойники, и Марка давил, давил на сразу пригнувшейся Надькиной голове крёстного. Давил, давил, стучал им. Пока не раздавался щелчок. Крепко щёлкнуло. Всё. Лопнул крёстный. На Надькиной голове.

Толик, закинувшись, смеялся лающим смехом, кожу по лицу морщило, как пергамент, а на затылке образовывалась ломаная стариковская складка. Смеялся старик, закрыв глаза. Лаял. Надька кричала матери в раскрытое окно, что Марка опять раздавил на её, Надькиной голове, крёстного. Ма-ам, опять! И Толик с ним хулиганит! Ма-ам!

Мать, словно бы не слыша, ничего не отвечала. С умилением кормила грудью Павлика своего. Третьенького. Махонького. Но уже с оттянувшейся кверху головкой, похожей на соску. (У Толика и вперёд, и назад рост головы был.) Свисали у кормилицы по упавшим грудям опрокинутые деревья вен. Вместо неё во двор выбегала Маня Тюкова, мать Марки. «Ты опять, ты опять! Ты зачем крёстного подобрал! Сколько я тебе говорила! Брось сейчас же, брось! Зараза это, зараза! Понимаешь ты это или нет?!» Марка стряхивал рванный атрибут на землю. Страхивал. Как чужую кожу с ладошки отлеплял...

С грехом пополам Марка Тюков перевалил во второй класс...

3

С Шаниными старуха Кулешова была постоянно в контрах, что с самим Долганом, что с женой его, Этой Неряхой Нелькой. Но... но как только те всем семейством отправлялись в город – в цирк ли там или в кино, – сразу торопилась к Мане Тюковой, которой всегда остав-

ляли пятимесячного Павлика на два-три часа... У Мани подкрадывалась к окну. Пригибаясь, воровато смотрела из-за цветка алоэ (Алойки) во двор, где сам Долган, пережидая задержку, стоял всегда в стороне от семейства и всегда очень гордо. Копейковая голова его словно постоянно всем напоминала: я не хуже других, а может быть – даже лучше!

Курила. Голова. Покачивалась – слегка. Нелька одёргивала, пыталась выгладить руками неглаженные штанишки Толика. Критически оглядывала его. Сильно потёршийся капрон на ногах Нельки свисал как экзема. «Какова! – удивлённо отмечала Кулешова. – Это она в цирк отправилась! На выход! На пару чулок у них нету. А? Зато увидишь – какими придут...» Пошло, наконец, семейство: Шанин-Долган гордо впереди, за ним Надька, оберегающая Толика от репейников, и замыкающей сутулилась Нелька, расставляя, как кривые ходули, тощие ноги свои в потёршихся волосатых чулках. Кулешова всё не уставала покачивать головой: а?

Как только Шанины выбирались из репейников на дорогу, сразу подходила к кровати, поспешно распелёнывала Павлика. «Ах, ты, чирьшек маленький мой!» Осторожно брала на ладони, поворачивала к свету. Смотрели с Маней. В пашочках было всё настолько воспалено, что, казалось, там раздавили красный солёный помидор. Под мышками красно, на шейке красно. Везде потнички размазались... «Да бедненький ты мой! Да до чего же довели-то они тебя, изверги чёртовы!» – заохала, запричитала Кулешова, положив ребёнка обратно, на кровать.

И начинались хлопоты. Ставилось ведро с водой на керогаз. Откуда-то появлялась детская ванночка. К ней – даже водяной градусник. Хотя Шанины свою комнату запирали на ключ, сам Долган запирал (да и был ли у них градусник? у них-то!). Следом две старые, но чистые пелёнки. Чтобы в одну завернуть и опустить Павлика в ванночку, в тёплую воду, поддерживая его под головку и попку, на мокрую подушечку из свёрнутого полотенца. Другую пелёнку будет держать наготове Марка, и в неё Кулешова примет от Мани Павлика, чтобы тут же насухо вытереть его всего, уже на кровати.

Всё так и происходило. Вымытый весёлый Павлик совал судорожные кулачонки свои в рот. Головка его ещё больше стала походить на соску. «Ах ты, бедненький ты мой!» Слёзы старухи падали в тальк, которым ловкие руки обсыпали, обильно пудрили промежность ребёнка. Старуха успевала вытереть слёзы рукавом халата и дальше всё делать ловко, быстро. Пеленуемый, резко болтаемый на кровати Павлик даже ни разу не пикнул. А уже через минуту, умиротворённый, спал. Марка приваливался к нему на кровать, внимательно разглядывал его голову. Голова поражала. «А почему он – как красноармеец? С шишаком?» «Будешь тут не то что красноармейцем... А самим чёртом рогатым... С такими родителями...» – Кулешова прибирала разбросанное. Марка не понимал, при чём здесь родители. Дядя Петя и тётя Неля. А?.. Мать сгоняла его с кровати.

Пили чай за столом. С печеньем, с сушками, нацепливая на них ножом понемножку масла. Марка, как всегда, нажимал на варенье. Правда, не на облепиховое, не бабы Груни, как когда-то, а на своё, варенное матерью прошлым летом, простое, смородиновое. Набирал, однако, по целой ложке. Полный анодированно-чёрного, сверкающего варенья рот его как-то ма́клично размыкался и смыкался. Словно в нём шлёпала кисть-ма́клица.

Марка опускал голову к блюду, тянул с него. Как будто половодье стягивал. Снова набирал полную ложку варенья. Чтобы ма́кличать им во рту.

Маня Тюкова избегала глаз Кулешовой, нервничала. Оглядывала комнату. Будто незнакомую, чужую. Как когда-то Прекаторос у себя. Или поспешно и как-то глубоко припадала к стакану. Словно стремилась спрятаться в нём от Кулешовой, скрыться. Должен быть вопрос. Должен последовать неременный вопрос. Напряжённо ждала.

И дождалась-таки. Медленно стягивая с блюда чай, будто прямо жабьим зобом своим, Кулешова интересовалась, как у Мани дела с Пучеглазым. Не надумали ли тоже завести

ребёночка. Красноармейца вот такого же. С шишаком. Пучеглазый-то, поди, быстро сделает. Вот такого же, несчастенького. Или уже не может, силёнок не хватает? Не надумали?

Быстро глянув на Марку, Маня покраснела. Как вам не стыдно, тётя Груня? При ребёнке! (Марка наворачивал варенье, вроде как не слышал ничего.) А чего стыдно? – отвечала Кулешова. В том смысле, что ведь это же очень удобно и выгодно: приходит бабёнка, моет каждый раз полы, стирки даже затевает, когда белья грязного накопится... завалишь её, молодую, сладкую, поиграешь с ней как следует... ну а там чаем напоить на прощанье, на автобус дать – и хорош! Удобно... А потом он женится. Обещал ведь. Два года уже обещает. Же-енится. И отцом Марке будет. Бу-удет. Да ещё каким! Куда там какому-то сельскому ветеринаришке. Этот-то – орёл! Пучеглазый, шалаш на голове! Ку-уда тому!

Маня готова была закричать, зажать уши... но тут, как внезапное спасенье ей, ниспосланное небом, от раскрытого окна послышалась песня:

...э ды замела дорожку, д за-мее-ла-а... – отдалённо, но явственно выводили на два голоса мужчина и женщина.

Кулешова поспешно выколыхивалась к окну... «Э-э, идут... Пустозвон в обнимку с Лению... Э-э, родители...»

Мотающийся в репьях длинный Шанин был точно надет подмышкой на низенькую Нельку – рука свисала пьяной щукой. Нелька охватывала его, вела. Они были тесно слиты. Они целовались, останавливаясь. Ноги их заплетались в единый бич. И снова расплетались...

...По кот-то-о-орой, д по кот-то-оо-рой,

Ды мы с любимым ря-ды-шы-ком проо-шли-и-и...

Робко, неуверенно продвигались сзади них Толик и Надька. Замедляли шаги. Точно терпеливо пережидали, когда им освободят дорогу, путь. Чтобы можно пройти...

Их оставляли во дворе. («Играйте!» – приказывала мать.) На крыльцо барака Шанин и Нелька восходили одни...

...По кот-то-орой, да по котооо-ро-о-ой...

Надька и Толик так и стояли за руку, не зная, что им делать, во что играть.

Через полчаса, без чулок, босая, Шанина приходила за Павликом. Не видела женщин в упор, будто была в чужой комнате одна. Взяв ребёнка на руки, сразу совала ему свою сизую, в ветвях вен, грудь. От неё сильно пахло вином.

Кулешова не выдерживала, начинала стыдить. «Не ваше дело», – спокойно говорила Шанина. По-прежнему не глядя ни на кого, уходила к двери, тюлюлюкая что-то сыночку. В полном бессилии Кулешова, что называется, взывала к небу, потрясая кулаками. Но как только из коридора дверь толкалась грязной пяткой... сразу говорила, что они и четвёртого замастачат. Скоро. Определённо. Посobie-то на четверых – не на троих. То-очно. Скоро матерью-героиней будет. Опять не выдерживала, перекидывалась на Пучеглазого и Маню, упрямо ровняя их с Шаниными. Но уже в растерянности говорила. Робко, неуверенно. Словно забывала на губах слова. Мастачьте, мастачьте уродов-то. Мастачьте... Так говорят перед тем, как горько зареветь. (Бедная старуха...) Уходила, наконец, бухнув дверью.

Маня оставалась сидеть у стола. Опустошённая, убитая. А Марка, свесившись из окна, почёсывал, как псу, за ушами чутко вслушивающемуся во всё Толику...

На другой день, с утра, Шанин ходил по бараку, занимал деньги. Был он в рабочей куртке – как в детской распашонке. Полон мужского достоинства. Предлагал варианты: могу завтра отдать, могу на той неделе, когда аванец. Тут – как хошь. Никто не давал. «Мамка дома?» – спрашивал у Марки Шанин. «Нету!» – пробежал по коридору Марка, а с ним и Толик.

От Кулешовой в коридор Шанин стрекáлил ногами ломано, по-журавлиному. «Я тебе дам на похмелье! – неслось вслед. – Я тебе дам!» – «Но-но!» – Шанин шёл, одёргивал распашонку, обретая себя.

Долго сидел в комнате у Обещанова, ногу на ногу, свесив рабочий ботинок, поматывая им... Пенсионер Обещанов жестоко колебался. Набегающую глотал слюну. Лысина Обещанова с несколькими волосками вспотела. Волоски на лысине загнулись. Как проволочные крючья на волокуше (сеносгребателе)... «На! Гони!» – не выдерживал-таки Обещанов, соблазненный. Шанин улетал, как Ветр.

Бутылку вносил в комнату выстраданно. Впереди себя, на ладони. Как рыбу. Как леща. С руки же... сталкивал на стол. Уже как циркач циркачку под аплодисменты. Профессионал. Обещанов суетливо бегал, переставлял, перекидывал всё на столе, пытался увеличить видимость закуски. С достоинством Шанин ждал возле сакраментальной, уже вскрытой бутылки, стопок – сам неприкосновенный, святой в своём статусе-кво выпивающего...

Через час он на корточках сидел в коридоре. В мужском вдумчивом перекуре. Ворочались над ним одеяла дыма. То ли на работу двинуть, то ли здесь ещё одну гоношить?

Кулешова не выдерживала, как всегда. «Ты что же это, а? Пенсионера обираешь? Он на эту трёшку-то неделю живёт. А? Не стыдно? Паразит ты этакий!» «Но, но, Никифорна! – начинал всползать на стенку Шанин. – Я знаю, что говорю!» Тут, точно дождавшись этого напряжения в коридоре, из своей комнаты пьяно вышлёпывался босыми ногами Обещанов. В майке, в разбойных трусах. С носом как дряблый взрыв. «Никиф-ф-рна! – кричал, мотая указательным пальцем. – В мужские игры не встре-вай!»

Забыл, зачем вытоптался. Пыжился. Сильно выпячивал живот, вставая на носочки. Точно хотел дотянуться животом до потолка. Побежал вдруг спиной назад, в комнату, и там загремел, опрокидываясь, в табуретках...

«Э-э, «в мужские игры»... Тьфу! Зачем старика-то напоил? А?» Поспешно с пола Шанин загребал под мышку развалившийся чемодан с инструментом, быстро шёл, шараясь по сторонам, к свету, на улицу. Ловить здесь сегодня больше нечего. За всё утро он ни разу не зашёл к себе в комнату. Как будто её не было в этом бараке. Блаженно, часами вскармливая Павлика, Нелька тоже мало вслушивалась в голоса из коридора, точно это и не муж её вовсе всё утро там бегаёт, гоношит, ругается, а просто отголоски его, железно ушедшего на работу, простые дебилные отголоски. Нелька закуривала папиросу «Беломор» и, держа её на отлёте, смотрела на сосущего Павлика. Опохмелки Нельке сегодня не требовалось.

4

Участковый врач ещё топталась у порога, надевала халат, мыла руки под рукомойником, косясь на грязное полотенце – а Нелька уже тормозила Павлика. Хватала его на руки и совала грудь. Брови белой полной женщины удивлённо вскидывались: только что курила папироску у окна – и уже кормит...

– Проснулся... – дёргалась улыбкой Нелька.

Неудобно, с опаской, выставив полную ногу вперёд, врач полусидела на шатающемся стуле, ждала. Хмурые задавала вопросы. Почему не приходят в Консультацию на осмотр? Почему в комнате дым, табак? Почему курят в комнате? Почему не идут в Детскую кухню? Не прикармливают шестимесячного ребёнка? А накачивают только грудью? Почему мастит груди не лечат?..

Запёкшийся сосок Нелька удерживала меж двух пальцев – так удерживают меж пальцев обжигающий дымящий огрызок сигары. Вздрагивала от боли, когда Павлик прихватывал по сильнее, но постепенно боль успокаивалась, текла где-то рядом, словно вскрытая из вены, пущенная в горячую воду ванны, кровь.

Как будто и не было никаких вопросов врача, Нелька вдруг начинала без умолку говорить, тараторить. Хвалиться. Своей семьёй, своей счастливой семейной жизнью, и что какой у неё здоровенький, ладный Павлик родился (тьфу-тьфу-тьфу!), и хорошо как сосёт, какой

спокойный (верите – ночью спит – не пикнет за всю ночь!). И старшие двое – просто замечательные дети: Надька и в магазин сбегает, и горшок вынесет, и в комнате приберёт (готовит уже, готовит: суп, картошку сжарить – всё умеет! верите?). А Толик-то, Толик!.. Уже говорит одно слово (верите? – «бьябьяка». Подберёт что-нибудь с земли... ну этого, как его?.. ну, в общем, подберёт и скажет: «бьябьяка!» – и бросит обратно на землю, ха-ха-ха, какой умный!). И что муж у неё хорошо зарабатывает, в цирк там, в кино всей семьёй, обстоятельный, трезвый. На работе ни-ни! Ни грамма не выпьет! Все пьют – он никогда. Так только, после бани чекушку возьмёт, дома выпьет рюмку-две, закусит хорошо, и всё – я разрешаю. И что решили вот они с мужем (не знаю даже, как сказать...), ну, ребёночка ещё завести, четвертенького... ну молодые пока, молодые... пусть играют-ползают кругом, веселее же будет, муж так и побуждает меня каждый день: давай заведём, давай заведём – это же интересно! И что... и что они...

Врач в белом халате исподлобья смотрела. Взгляд – напряжённый, тяжёлый антабус. А Нелька всё заливалась и заливалась птичкой. Пока её не прервали, наконец. Сказав, что хватит. Хватит кормить!

Вставив в уши лапки фонендоскопа, на ватном, засаленном, как сапог, одеяле врач сама начала разматывать, распелёнывать Павлика, чтобы осмотреть.

Распеленала и... отпрянула. Тонкие, сцепившиеся кольцом ножки ребёнка казались ручкой корзинки, полной красных цветков... Такие корзинки выставляют на сцену. На плиты могил!..

– Это что же? А? – поворачивалась в растерянности к Нельке врач. Нелька поднимала лицо к потолку, что-то там разглядывала. Интересное.

– Да понимаете... горячей воды у нас нет... сами знаете... ну и приходится... не всегда... и пелёнки, и вообще...

– Да что «понимаете», что «понимаете»! Как вы допустили такое?! Со своим ребёнком?! Как?!

– Да понимаете...

Врач молча пошла к двери. Вышла. Совсем, что ли, отвалила, удивилась Нелька. Так сумка же здесь осталась...

Врач возвратилась с чистой пелёнкой, с бутылкой постного масла и пластмассовой колбой талька. За врачом робко, деликатно, выступала Кулешова с чайником, с ещё одной пелёнкой, удерживаемой у груди...

Намешав на табуретке в тазу приемлемо тёплой воды, врач ловко стала подмывать ребёнка. Сдерживаясь, как взрослый, Павлик от боли тихонько попискивал. Из чайника Кулешова тихонько подливала. Потом так же, чуть ли не на цыпочках, ушла с чайником из комнаты.

Обработав маслом и тальком рану в паху... врач быстро, жёстко пеленала ребёнка. Так пеленают грудничков медсёстры в роддомах. Нелька с обеих сторон заглядывала, как бы училась. Как только врач закончила – сразу схватила Павлика на руки, сунула грудь. Как спасенье своё, как главный аргумент...

– Да что вы всё грудь-то ему суёте!..

– Он любит, – быстро ответила Нелька.

Опять сидела на шатком стуле врач, для устойчивости упираясь полной ногой в пол. Зло, по полу же, искала злые слова...

...Вы родили своего первого ребёнка в пятнадцать лет (в беспечности своей, в гулянках, в пьянках, вы пропустили все сроки аборта, и аборт вам делать не стали). Вы выходите замуж в шестнадцать лет за своего совратителя (преступника, по сути дела). Вы рожаете второго, уже неполноценного, ребёнка в двадцать два года, третьего – неизвестно ещё какого – в двадцать пять лет. Сейчас вам двадцать шесть. Вам сделали уже более десяти аборт. И вот вы надумали рожать четвертого ребёнка. Ваш муж пьёт, алкоголик. Вы сами курите, в пьянках

почти не отстаёте от него. О чём вы оба думаете? Чем вы с ним думаете? Какие дети у вас будут рождаться?..

Солнце незаметно подошло к кровати, высветило на ней всё: и кислое ватное одеяло, бывшее когда-то красным, и спящего с закинувшейся сáсковой головкой младенца на коленях матери, на правой её руке, и саму мать, осунувшееся лицо которой походило на сморщенный презерватив... а замученные изработавшиеся груди свисали как клячи на живодёрне... На откиннутом запястье левой руки белел широкий поперечный шрам, схожий с тесным серебряным браслетом татарки...

Отвернув голову в сторону, врач судорожно снимала халат. Нелька поламывала ручки:

– Доктор... не могли бы вы... не могли бы вы дать нам справку?.. Ну, что дети больные... Один ненормальный... Тогда бы мы в льготную смогли... На расширение... Чтоб отдельную... Понимаете?

Врач замерла над сумкой. Словно слушала эхо разом понятых, но улетевших слов... Сказала, что поговорит с главврачом. Скорее всего... такую справку они получают. Да, получают. Дадут.

Не попрощавшись, вышла из комнаты.

Жадно, глубоко затягивалась табаком у окна Нелька. Смеялась. Начинала совать кулачком вверх. Как футболист после гола. Беснуясь, подпрыгивала, сдёргивая кривые ноги в колесо. В изумлении на неё смотрели Марка и Толик. Смотрели со двора...

– А?! – безумно-торжествующе высовывалась она к ним. Как Цезарь, как Наполеон, ухватив подоконник руками вразброс. Мол, видели? Что скажете на это? А?! – Ну-ка иди сюда! – подзывала сына: – Где твой бябьяка, где?

Толик, не сводя глаз с матери, показывал пальцем на репейники – «Бябьяка!»

Мать хохотала:

– Бябьяка! Висит, да? Висит? Ха-ха-ха!..

– Бябьяка! Бябьяка! – испуганно воодушевляясь, всё тыкал пальцем Толик в сторону репейников: – Бябьяка!..

Мать совсем заходила в хохоте. Хихикал, обтаивал, как снег, смущением Марка. Он уже знал, кто такой «Бябьяка».

Вечерами в репейники пролезало закатное солнце, сильно, жарко просвечивало их понизу. Мелкие репы кишели на кустах, как пчёлы. Репья крупные – зудели. Над кустами солнце создавало красно-фиолетовые шары шмелей, будто привязанных к кустам за нитки. Почва под кустами – без единой травинки глина, гладкая и твёрдая, как череп, – ощущалась Маркой и Толиком, как жёсткая, вдобавок горячая, черепная кость.

Осторожно, как инвалиды, они переставляли по ней ладошки и коленки, продвигаясь меж кустов с репьями. Изредка перебегал им дорогу одинокий земляной паучок. Чёрный. Останавливались тогда, глядя под себя и кругом, определяя: куда он опять убежал? Дальше передвигались меж кустов, шуршащих в солнечном ветерке колючками.

«Бябьяка! Бябьяка!» – вдруг начинал тыкать пальцем Толик. Белый длинный мешочек висел на кусте. Как парашют на дереве. Давно покинутый парашютистом. «Не трогай... Пусть висит», – хмуро говорил Марка. «Бябьяка», – чтобы не забыть, повторял слово Толик. В какой-то неуверенности дальше продвигались рядом, поворачивая головы один налево, другой направо. Как будто две коровки, забредшие в культурную аллею парка... «Бябьяка! Бябьяка!» – опять показывал Толик на другой куст. Мол, ещё один висит. «Да ладно тебе! – уже сердился Марка. – Много их тут!» – «Бябьяка», – с уважением повторял своё первое слово Толик. Ползли дальше...

В своих окнах, рядом, как в чернозёме старых картин, проступали лица Обещанова и Кулешовой. Кулешова сидела, сложив руки на груди, с зобом подобная Вавилону. Длиннень-

ким выюнком завивался дымок от самокрутки Обещанова в его скольцованных пальцах. Рождаемые отдельно, слова стариков падали во двор и словно только там начинали звучать, соединяться в какой-то смысл...

– ...сотенные-то – целые скатерти были. Помнишь, Никифорна? Возьмёшь её, бывало, в руки – вот такие ноли на тебя вылупились, глядят! Вот это деньги были! А сейчас...

Падали слова в основном из одного окна...

– ...пока кукурузный початок-то наш Коммунизм из трибун городил – те-то ой как далеко ушли. Догони их сейчас и перегони!.. А у нас зато теперь их СТОПЫ на всех дорогах стоят. Английскими буквами. Ну как же – вдруг иностранец какой на машине через Сикисовку пролетит? Турист? Миллионер? А у нас – СТОП. Пожалуйста. Не забывай родное. А, Никифорна? У них там вся Америка со стопами-то этими разгуливает, демонстрирует (и когда только, черти, работают?), ну а мы его, миллионера-то, тут стопом родным и погладим. А, Никифорна? Хе-хе...

В репейнике ребятишки бесстрашно трясли снизу куст, вышугивая из него настоящего шмеля. Кулешова кричала им, вывесив во двор зоб... Садилась обратно, на стул. Сама говорила. Говорила о дочери, плакала...

– ...да был я там, где дочь-то твоя... Чего ж ты хочешь – в черте города всё... И свинцово-цинковый, и титано-магниевый, и ещё какие-то комбинаты едучие... Идёшь по городу – навстречу земляные люди идут. Во как! Многим только по сорок, сорок пять – и земляные все. Молодые-то ладно ещё – бледненькие пока только. А эти – будто из земли вылеплены. И лица, и руки. Город земляных людей. Новая порода выведена. Местным воздухом, местной водой сотворённая. Да всё – овощи, фрукты, мясо, молоко – что ни возьми – отравлено! Чего ж ты хочешь? Потому и болеет она всё время... А у нас разве лучше? Вон они – до неба стоят. Сеют. Разумное, вечное. Зелёного листа на дереве за лето не увидишь (всё как курами обгажено), зелёной травы. Вон – репы только и цветут...

Во двор вылетал плевков. Из своих же бычков, натруханных в железную банку, Обещанов сворачивал новую самокрутку. Курил. Пока Кулешова опять кричала ребятишкам, смотрел вдаль на Маркин школьный тополь на взгорье. Тополь блистал, несмотря ни на что. Был невероятен в своём обличии. Как пропившийся вельможа в ободранном золотом камзоле. Обещанов возвращал взгляд, вспоминал о зря прожитых годах своих, о днях из них, о целых месяцах, которыми он, как зерном, усыпал дорогу из дырявого своего, бестолкового кузова...

Не докурив, забивал самокрутку в банку. Говорил «пока, Никифорна», уходил от окна, валился на кровать, закидывая руки за голову. И так, словно не понимая ничего в этой жизни, долго таранился в потолок чистыми стариковскими фарфоровыми глазами. Нервно шмыгал носом. То одной его ноздрей, то другой. Точно стогнял, вспугивал комаров.

5

Двадцатого числа каждого месяца Обещанов доставал из-под кровати патефон. Тряпкой смахивал с него пыль. Как очковую змею за голову, брал головку патефона и, точно сдаивая яд, втыкал острым зубом в подпольную, пятидесятих годов рентгенплёнку. После волнами заболтавшегося шипа, сахаринный одесситски-приблатнённый голос пел: «И после драки, когда все уже лежали на фанэре...» «Гуляет, – услышав через стену, говорила Мане Кулешова. – Пенсию получил. Миллионер на сегодня». Марка и Толик лезли к раскрытому окну смотреть на Обещанова. На двух вилках, как на шампурах, Обещанов подносил им по толстому кусману обжаренной колбасы. Возвращался к столу, выпивал из стакана, жадно ел. А головка патефона ехала, рулила, болтала шип, музыку и слова:

...И после драки, когда все уже лежали на фанэре...

Марка и Толик жевали, разглядывали всё в комнате. Облупившийся, проступивший лишаями шкаф, кровать у стены с коротким тощим матрацем, с выглядывающими досками; тряпичный провисший коврик над ней, на котором были три охотника: один что-то рассказывал, растопырившись, как испуганный рак, другой сидел на пятках прямо, слушал говорящего, и глаза у него были как лупленые яйца, а третий недоверчиво почёсывал затылок, опрокинувшись на бок, как улыбающийся самовар... Ещё было в комнате: три табуретки, стол, за которым Обещанов сейчас жадно ел, и возле крана и раковины, наваленный на столик в клеёнке до пят – разный шурум-бурум из сковородок и кастрюлек...

Обещанов опять подносил на двух вилках. Глаза его были добрыми-добрыми. Большой нос его тоже добро пошмыгивал, а волосы на голове походили на проволочные загнутые машины. Которыми сено в деревне сгребают. На лошади...

Чуял ли носом Шанин, телепатом ли был – но уже поторапливался по горбу дороги к барaku. Планировал будто, планировал в репейниках – рабочая курточка только разлеталась.

К Обещанову хлопала дверь. «Сергеич! Сколько лет!..» – «А-а! Пётр! Проходи, проходи! Дёрни с устатку! Закуси! Рука с наколотым на ней поблёкшим кинжалом, обвитым змеей, тянулась к патефону:

...И после драки, когда все уже лежали на фанэре...

«Гуляют, – не забывала отметить Кулешова, разматывая пряжу с Маниных рук. – Теперь уже вдвоём. Молодой паразит прибежал опивать старика-пенсионера». А на подоконник Обещанова снова облакачивались, удобно устраиваясь, Марка и Толик.

...Собутыльники тянулись за столом друг к дружке, как весёлые волки, не видевшиеся сто лет. Они одновременно говорили и лепили друг дружке руками. Булькало в стаканы постоянно. И из первой бутылки, и уже из второй. И в резиновую колбасу так же с размаху втыкались вилки...

Но через полчаса Обещанова за столом уже не было. Закинувшись на кровати, с раскрытыми ручками и ножками, он деревенел подобно деревянным козлам. Отвернуть их к стенке, опрокинуть как-то на бок – не было никакой возможности. Шанин пробовал. Дёрнутся только, помотаются и замрут в прежнем положении деревянных... Шанин за столом жевал, не сводя глаз с кровати. Через спинку кровати были перекинута брюки. Шанин смотрел на них, всё вихлял челюстью. Жилистые ушки Шанина напряжённо двигались...

Потом он крался на цыпочках к двери. В волосатых соплах носа Обещанова гремел гром. Ребятишек на окне давно уже не было.

Пьянка продолжалась три-четыре дня. К Обещанову Шанин прибегал, как домой. Как к жене на обед. В радостном нетерпении облакачивался на столешницу. Обещанов не столько пил уже, сколько – падал. От одной, двух рюмок. Падал на кровать. В перерывах горько плакал за столом, что столько пропил денег. Почти всю пенсию. А может, потерял, а? Обронил? Не мог пропить он столько денег, не мог!

Не мог, согласно кивал собутыльник, с разъехавшимися локтями на столе, в магазине вынули. Точно. Не плачь, Сергеич, проживём. У свояка полный подвал картошки, сало... это... как его?.. свиное – проживё-ом, не горю-юй...

В коридоре Кулешова тыкала во втянутую головёнку Шанина кулаком. Как в измятый чикой пятак. Тыкала. «Но-но! Никифорна! Хватит! Я знаю, что говорю!» Длинная тень, шараясь в стороны и тут же выравниваясь, быстро несла себя к выходу из барака...

Вечером он стоял прямо на дороге, которая бежала мимо барака вниз. Длинный, качающийся, слушал друга-коротышку. Коротышка-друг размахивал руками, быстро рисовал ими рай, который ждёт их вон в той хибаре с вывеской «Вино». Наискосок, через дорогу. Шанин пьяно ему кивал. Потом толкнул пятернёй, как бы сказав: щас будут (деньги)! Жди! И пошёл,

как всегда – очень быстро и мелко. Длинный, растопыривался руками. Его заносило, как аэроплан. Он выруливал на маршрут. Снова шустрил ногами, раскинув руки.

И к бараку выбежал так же быстро. Но уже весь наперекосяк. С вытянутой левой рукой и провалившимся правым боком. Так выбегают балеруны из-за кулис на сцену... «Э-э, – говорила Кулешова в окне. – Надрался-таки!» Торопясь, выколыхивалась из комнаты и вставала у двери Обещанова. Унимающей сердце горой вставала на защиту пенсионера. Попробуй теперь сунься!

Но Шанин в коридоре вёл себя странно: вместо того, чтобы подступаться к Кулешовой, бить себя кулаком в грудь – он продвигался вдоль стены боком, ощупывая стену. Кулешова наблюдала. «Э-э, шаг шагнёт и пуд насерет...»

А Шанин и вовсе замер. На одной из дверей. Словно на могилке. Раскинув руки... Рывками медленно сползал, сползал по ней. Точно сдавал и сдавал плацдармы. Оказался на полу. Но на полу сидел поразительно. Как наложенная кучка г... без ног. (Куда ноги-то девал?) «Ноги отнялись» (Улетели?)... – удивлённо говорил Надьке, дочери своей. Надька тащила его в комнату. «Так тебе и надо, паразит!» – шла к себе Кулешова.

А Шанин мотался уже на стуле. Среди семьи. По привычке требовал закуски. Потом, убедившись, что бутылки в карманах нет – пожрать. Просто пожрать. Без водки. Никто не обращал на него внимания. «Вот сейчас поброюсь – и пойду!..» – с угрозой говорил жене Шанин. (На танцы? К бля...м?) Жена подёргивала из папироски. Кормила грудью сына. Тогда падал.

...Второй его вариант выбивания денег был такой: он не входил – он влетал в комнату жертвы в рабочей своей курточке, в курточке-разлетайке! Он – вот прямо с работы, он отпросился всего на пять минут. Мечущееся лицо его напоминало самурайский флаг с колёсковой эмблемкой. Он кругло выкатывал перед жертвой глаза, что – завтра! что – железно! без булды! Напорно, мощно звучал из него гимн пьяного. И устоять против него было невозможно. И, обмирая сердцем, зная, что не отдаст – ему давали. И сколько бы он внаглую ни запросил.

– Завтра – железно – без булды!

Он улетал за дверь, а в комнате унимали сердце, с испугом удивлялись самому (самой) себе: как? почему дал (дала)? Притом своими руками?..

Однако приём этот железно работал только когда Шанин бывал на газу. На взводе. У трезвого – как отрезало. Гимн не звучал. Это чувствовали. Никто не давал. Да ещё насмешничали. Да с превосходством, да с подковырками!..

Как выпил – продолжить? – ничего нет проще! В первую же комнату. С выпученными глазами: железно! без булды!.. И выходил с червонцем в руках!

Кулешова кричала в коридоре Мане. (Но косилась на дверь Шаниных): «Ты зачем ему дала? Зачем ему дала? – Чувствуя, что выкрикивает двусмысленно, добавляла: –...деньги? Почему опять дала?» Маня винилась, что надо ему, им то есть, что на еду, он сказал, нет у них, так он сказал, что... «Да врёт он всё! Врёт! Пьянчуга! Да сколько ж можно его поважать? Прибежит, сбулгачит всех – и смылся! С деньгами! Да гоните его в шею!.. Вон Обещанов, старик, пенсионер, а пропился и молчит-сидит, не клянит... а э-этот: дай! дай! дай! Да сколько ж можно поважать? Дашь ещё ему, узнаю – разговаривать с тобой не буду!.. И поважают его все, и поважают, паразита...» – шла уже к своей двери Кулешова.

Глаза блуждали по комнате. Не остывая, не знали к чему себя привязать, к какой работе. Решила... выкупаться. Чёрт вас всех задери! Смыть всю эту грязь с себя!

В ведро лупанула из крана водой. На полную выкручивала скалящийся фитиль керосинки. Сидела посередине комнаты на стуле, ухватив руками расставленные коленки, дожидаясь, когда согреется вода. На подоконнике стояли три цветочных горшка. Горшки походили на выставленные черепа, поросшие выюнами усов. Солнце сверху резало черепа надвое...

Льнущей лавой вода скатывалась в оцинкованное корыто. Корыто под топчущимися ногами стреляло. Кулешова в последний раз окатывала себя водой. Банным вытиралась полотенцем. Живот Кулешовой свисал белым фартуком. Над черепами на окне всплывали две головы. Гы-гы!..

– Ах вы, бесстыдники! Я вот вас сейчас!..

Марка прыскал и сползал вниз и в сторону от окна, скрючиваясь от смеха. А Толик, на завалинке встав уже во весь рост, удивлённо показывал на Кулешову пальчиком. И бубу-букал. По-своему. Точно призывал всех во дворе в свидетели. Мол, смотрите, какое чудо-юдо. На цыпочках голая Кулешова подходила к окну, начинала поталкивать Толика, выглядывая наружу: иди, иди, Толик, играй. Но тот упирался, не хотел слезать с завалинки и тыкал пальчиком своим уже в живот Кулешовой. Изучающе. Будто в сырой лаваш. Кое-как спустив его на землю, Кулешова захлопывала окно, задёргивала занавеску. Марка и Толик смотрели друг на друга: один всё смеялся и повторял слово «шкодина» («Ну просто шкодина – и всё!»), другой прислушивался к себе и поражался, что так грубо ссадили на землю. Хотел было запеть и лезть обратно... Но тут...

С колёсами мелся по улице вниз грейдер. Будто уродливый какой-то Тянитолкай. Забыв про Кулешову, в следующий миг неслись во весь дух в надежде увидеть поближе. Но Тянитолкай свалился, ухнул с дороги вниз, весь перемявшись, и уже улепётывал каким-то проулком – горбом только подкидывалась кабина. И пропадал в домах совсем...

«Прыг-скок! Прыг-скок! Я ма-асленный бок!» Марка начинал прыгать вдоль дороги на одной ножке. Смутно припоминал, что уже прыгал здесь когда-то так же. Только через что? (Через Дохлые Радуги! Вот же они! Никуда не делись!) «Прыг-скок! Я ма-асленный бок!» Толик тоже старался за ним, но всё время падал, как с отбитой ножкой оловянный солдатик. Так и прыгали вдоль дороги, будто одноногие инвалиды.

Друг за другом ходили опять по репейникам. Не ползали, а ходили. Как по саду садоводы. Без боязни раздвигали руками кусты, шли вглубь их и жужжали. То ли они – пчелы, то ли они – шмели... Выносили на трусах и майках плотные колонии мелких репьев, так же углублённо жужжа и растопыривая руки. Криков Кулешовой не слышали...

Когда, присев на корточках, разглядывали двух борющихся чёрных жуков, двух борющихся г...возов, – на ходу припрыгивая, весёлой гордой конницей мимо протанцевали соседские ребяташки. «Придурки играют! Два друга! Лёлин, привет! Толик, где твой Крёстный? Ха-ха-ха!» Марка меж колен низко опускал голову. А Толик дёргал его и показывал пальцем на танцующую густо меж репьев к дороге ребячью конницу. Мол, вон они – ребяташки! Голова Марки склонялась ещё ниже...

3. А я видел Дядю

Пучками и округлыми букетами на столе стояли цветы в банках и кефирных бутылках. (Маркин букет из пяти белых тюльпанов, смахивающих на стесняющихся чубатых сельских парней, терялся у самого края стола, был последним.) Учительница стояла над всеми цветами, как будто собралась их продавать. Как будто она – торговка на базаре, в цветочном ряду. Она поблагодарила за столь большое внимание к её персоне (то есть, выходило, за эти цветы) и поздравила класс с началом учебного года. Так как все молчали и только застенчиво улыбались, поёрзывая на свежоокрашенных гладких сиденьях парт – сама захлопала, создавая длинными ладонями как бы сильно пущенные лопасти винта.

С жаром дети подхватили и долго не могли успокоиться. Потом Учительница спросила, как они провели лето, что видели интересного, что им больше всего запомнилось. В нетерпении все сразу начали тянуть руки в струнку, подпирая другой рукой локоть. В нетерпении трясли руками, локоть подпирая ладошкой. Целый лес нетерпеливых рук. Я! Я! Меня! Меня! Учительница по очереди разрешала. Маша... Надя... Эдик... Марка было тоже завидёргивался с рукой со второй парты – и отстал. Потом снова не удержался: руку вытягивал как послание какое-то, как петицию, меморандум – и снова опустил.

– Тюков... – неожиданно разрешили ему.

– А я... а я... – Марка аж задохнулся от такого доверия и своей храбрости. – А я... я видел Дядю.

– Где? Какого дядю?

– Дядю... Возле дома, где молоток и коса...

– Какие молоток и коса! Что ты мелешь опять? Какие?!

– Молоток и коса... Скрещённые...

– Ха-ха! Это серп и молот, что ли? Дети! Слышали? «Молоток и коса!»

Весь класс заливисто смеялся. Ну, этот Лёлин! Ну, Тюка! Ну, сказанёт!

Учительница смотрела на Марку. Длинные колокольные локоны сорокапятилетней женщины были неподвижны, свисали. У неё не было своих детей, своего мужа. Чужие мужья были. Белые сморщенные щёки её походили на пересушенные после стирки скатёрки.

Ну что ты ещё скажешь? – смотрели на Тюкова бесцветные водянистые глаза в красных ободах век. В которых проступала непреодолимая брезгливость к этому... недоделанному мальчишке... Где? Когда видел? Чем поразил его этот... «дядя»? – Темнота-а.

Марка молчал. Он ощущал себя, как будто навалил кучку, а на неё слетелись мухи. Зелёные мухи. А он стоит рядом и наблюдает. Как бы он – и кучка, и ещё – наблюдает. Отделился. От кучки. Рядом стоит. Не кучка как бы...

– Садись! – махала рукой Учительница.

А дети, после досадливой этой задержки, ещё с большим нетерпением завывали, затрясли ручонками. Меня! Меня! Я! Я! Всклакивали по одному, бойко докладывали.

Когда весь класс во главе с Учительницей проходил мимо Маркиного барака по дороге вниз – из репейника, как много теста, поднялось много головы изумлённого Толика. Марка сразу отвернулся, стал смотреть в другую сторону. Но никто почему-то не заметил Толика в репейнике, даже Сарычев, новый Маркин сосед по парте, который и жил рядом с Маркой, вон, возле «Винного», через дорогу, и знал Толика...

К слову сказать, Сарычев этот на второй же день стал подбивать Марку подглядывать у Учительницы. Обзывал «бздуном». И ещё другими словами. Тогда Марка залез и добросовестно подглядывал из-под второй парты у Учительницы. Но ничего, кроме тощих, как раздавший хомут, ног, заканчивающихся чёрным тупиком... не увидел. Так честно и сказал Сарычеву.

вой голове, которая сунулась к нему под парту. Мол, черно и ничего не видно. Тогда во второй раз начал Марку Сарычев заставлять.

И случился скандал – наверное, почувствовав дыхание Марки, Учительница вскочила из-за стола и страшно покраснела. Стала кричать Марке под парту. А он вылезал и показывал ей ученическую ручку. Мол, упала. Пришлось вот лезть. Стоял в растопыренной гимнастёрке, с уехавшей на грудь пряжкой ремня, что понурый конь с уехавшим седлом.

А Сарычев, преподобный Сарычев, уже откинулся на парте на руку, злорадно смотрел со всеми – мол, каков субчик! Вот такой теперь сосед по парте у Марки оказался. Он и сейчас шёл и уже подталкивал Марку локтем, гыгыкая. Показывал на Шанина и его коротышку-друга, которые застыли, обнявшись, возле «Винного». Как одна расставленная, но очень неустойчивая стремянка. Чтоб, значит, Марка побежал и подтолкнул их там. Чтоб, покачавшись, они упали на землю и оба переломались. А, Марка? Гы-гы! Подбивал, значит, опять Марку... Вредный всё-таки этот Сарычев!..

Когда пришли к болоту, Учительница спросила, с чем можно сравнить крик лягушки (надрывалась там одна, дура), и Сарычев тут же зашептал Марке на ухо. И Марка сдуру, как безумный, сразу задёргался с поднятой рукой. Будто бы это его самого осенило. А Сарычев ещё выкрикивал Учительнице, что Тюков, Тюков знает! Тюков хочет сказать! Учительница разрешила, и Марка начал барабанить, что крик лягушки походит на этого... на Крёстного... ну когда им... значит, это самое... потрёшь, значит... об ладошку... Но никто ничего не понял про Крёстного, все начали кричать, заспорили. И Марка только вытирал лицо платком и поглядывал на хихикающего Сарычева: да-а, Сарычев, подвёл ты меня под монастырь. Как всегда подвёл, гад. А одинокая лягушка сперва свиристела, а затем и впрямь будто бы тёрла в болоте резину. Свиристела и яростно натирала свою ладошку Крёстным.

Пошли всей гурьбой дальше. Вдруг увидели лошадь со спутанными ногами. Перескакивающую за травой, как шахматный конь. Рядом курил хозяин лошади. Крестьянского вида старичок. Хмуро поглядывал на траву. Трава была цвета мочала.

На вопросы сбежавшихся и окруживших лошадь детей – ничего не отвечал. Будто не видел, не слышал никого. «Товарищ конюх, что же вы не ответите детям?» – спросила его Учительница. Старик молчал. «Товарищ конюх, вы слышите нас?» Он и на этот раз не сказал ни слова. И только когда, несколько смущаясь, пошли от него, и Учительница от возмущения то покрывалась пятнами, то бледнела – вдруг вырвал клоч травы и плаксивым голосом закричал Учительнице: «На, на, поешь этой травы, сперва поешь! А потом дальше учи своих доцентов! Поешь, сперва. Поешь! Мать твою за перетак!»

– Это ненормальный! Дети! Быстрее! – Класс уже бежал во главе с Учительницей. А старик всё махался пучком и выкрикивал вслед: «Поешьте! Поешьте! Эх, вы-ы, доценты!»

Опомнились только возле остова грузовика. Того самого, в ржавой кабине которого Марка сидел когда-то, как в черепе. Так и покоящегося в почве. Походили вокруг ржавого железа, не понимая, для чего оно, что с ним делать. (Марка хотел сказать, что можно залезть внутрь кабины и потарахтеть, но сдержался.) Экскурсия, собственно, закончилась. Учительница оглядывалась. Так, кусты посмотрели, траву посмотрели, болото видели, лягушку послушали, ненормальный со скакающей лошадью ушёл. Больше на природе делать нечего, можно поворачивать назад, к городу.

Тут, однако, увидели чудо – весь в золотистой пыли спешил комбайн вдалеке. Такой же неожиданный для детей, как лошадь до этого. И от удивления все смотрели на него. Смотрели, как на сельскую избу. Сдуревшую вдруг и быстро поехавшую по полю.

«Овсяные убирает», – пояснила Учительница. И тут, откуда что взялось, Марка Тюков вдруг сказал, что не «овсяные», а Озимые... И добавил, как недовольный старик, что «овсяная» только кашка бывает... (Вот так Марка! Помнит, оказывается, стервец, свой корень! Отбрил-таки!) Учительница вскинула бровь. «Ну да – я так и сказала – озимые...» (Марка

ухмылялся в сторону, давай, давай, дескать, заговаривай зубы...) «Ну, всё, всё, дети! Назад, назад – к школе!» Все с каким-то облегчением, как после нелёгкого испытания, зашпешили назад, к школе. И вся разбросанно спешащая по кочкам группка детей смотрела только себе под ноги. Словно торопилась к выдуто-громадной сажевой туче, заполонившей небо над заводами впереди, из дыры которой шёл отвесно вниз белый свет. Похожий на освещённый белый лаз наверх. В единственное спасенье. В рай. Длинно-белое лицо Учительницы плыло как несомое слепое знамя. Головёнки по бокам спешили, волновались.

2

Этой же осенью старуха Кулешова, собравшись-таки, поехала в Сибирь, к дочери своей болезной, пожить с ней, помочь чем можно – и Марка оказался беспризорным. Маня на работе изводилась, не знала как быть. Велела, в конце концов, приезжать к ней в кинотеатр. Прямо из школы. Зайти домой, перекусить, и на автобус. И чтобы с учебниками, с тетрадками, с ранцем!

Марка с радостью согласился: дорогу к «Родине» он знал преотлично. Тем более что и Толика можно было брать с собой, тётя Неля всегда разрешала. Они выходили к дороге, влезали в полупустой 44-ый, садились впереди, по ходу движения. «Ученический», – важно говорил Марка, если в салоне бывала контролёр. У Толика, увидев его большую голову, билета не спрашивали никогда. Так и ехали: один с проездным, другой бесплатно. Неотрывно смотрели в окно.

Трёхзальный кинотеатр «Родина» находился в центре, у перекрёстка двух улиц: Карла Маркса и Чернышевской. Это было довольно величественное здание в стиле, если можно так выразиться, мини-Греции: с гладкими колоннами – вверху, как положено, красиво закудрявленными, на которых покоился треугольный, весь в красивой лепке, портик. Правда, и снаружи и изнутри весь изгаженный голубями. Эдуард Христофорович Прекаторос, директор кинотеатра «Родина», каждый день озабоченно смотрел вверх под портик, откуда от драк голубей постоянно слетало перо, чередуясь с длинной малахитовой дрис...

Эдуард Христофорович шарahalся от помёта, всерьёз подумывал вызвать лихих тёток из Санэпидемстанции, чтобы занялись они голубями, чтоб как-то убрали, ликвидировали их, ну, скажем, как мышей, как тараканов...

Какая-то хитрая старушонка повадилась продавать овсянку в маленьких кулёчках (кулёчек – рубль!), на площади, перед кинотеатром, как будто где-нибудь в Риме или, на худой конец, в Москве. Ну, чтоб люди, побаловавшись с птицей, ощущали себя благодетелями.

Голуби бегали, жадно клевали. За струями овсянки – кидались, грудились в кучу, растопыривались крылами, чтобы отвоевать себе хоть какое-то пространство...

Потрясая кулаками, Прекаторос спешил к безобразию. Стаю сдёргивало с асфальта – как плащ. Старушонка с овсянкой улепётывала через дорогу, через трамвайные пути, к памятнику Чернышевскому, который – тоже весь обгаженный – стоял с крутящимся на макушке голубем.

Старушонка присаживалась скромненько на краешек скамьи рядом с Мыслителем. Присаживалась переждать. А Прекаторос всё грозил ей пальцем. Ему чудилось, что и на проносящихся трамваях – висят голуби. Как болельщики, едущие на стадион!.. Но это уже была, конечно, чистой воды аберрация. Проще говоря, искажалось немножко зрение у Эдуарда Христофоровича.

Площадь перед кинотеатром была небольшая: с одной стороны её отгораживала от квартала высокая кирпичная стена жилого дома, густо покрашенная коричневой краской, куда очень просилась реклама «Храните деньги в сберегательной кассе» (на самом деле позже туда повесили из составных фанер портрет Человека С Лошадиным Черепом и почему-то в тонких

очках), с другой – под обрезанными сиреньевыми кустами протянулся ряд скамей с изогнутыми спинками. И наконец, прежде чем пройти к главному входу-порталу или левее и вниз к кассам сбоку здания – можно было полюбоваться цветочной осенней клумбой в центре площади, как свежее испечённой коврижкой (а летом-то тут настоящий пышный торт из цветов цвёл!).

В хорошую погоду на площади всегда бывало немало людей. Как йоги, с закладной ногой к животу, воспаряли на второй ноге над скамьями молодые парни с раскинутыми руками. Их подружки рядом без конца стягивали юбочки на коленки, будто на вызревающие дыни. (Так прикрывают от света быстро портящийся товар.) Расфранчённые младенцы талдыкались к протянутым рукам, лепеча, задыхаясь от восторга. Постарше ребяташки или лизали длинное, как язык, мороженое, или стояли цепочкой к железному крашеному ящику на колёсиках с двумя бурыми колбами и выцветшим тентом над ними. (За падающим уровнем в колбах следили очень внимательно, как будто за аппаратом на станции переливания крови скорой помощи... «Мне же с тройным! Тётя!» – «А, чёрт тебя!» Пухлая, склизкая, как медуза, рука доливала из краника.) И возле глухой стены (где потом повесят Главу) стоял на высоком постаменте и задумчиво дул в продольную флейту греческий голый мальчик из бронзы...

Эдуард Христович ещё раз строго оглядывал всю свою мини-Грецию и, уже не думая о голубях, шёл к колоннам, к порталу, чтобы взойти по трём ступеням в храм. В Храм Искусства...

Между тем Марка и Толик, не обращая особого внимания на клумбу, на мальчика с флейтой и на колонны... спешили через площадь и вниз по лестнице, к кассам, где помещался Зелёный зал, где была мать Марки. Спешили, чтобы выпросить у неё денег, быстренько вернуться назад, на площадь, и купить два мороженных, длинных, как языки. В крайнем случае пристроиться к аппарату с колбами – и уж там по стакану ядрёненькой с двойным! Уж на это мать Марки, надо думать, денег даст?

Не тут-то было! Марку сразу же запирали в конторку учить уроки. А Толика Маня заводила в зальчик (Зелёный зал) на попечение Коли-Бельяши. Толик застенчиво вслушивался в себя, стоя напротив Коли. Голова Толика была как туман. Коля осторожно трогал её пальцами, явно завидуя. У него голова была размером всего лишь с толкушку. Да, всего лишь с небольшую берёзовую толкушку... Спихватившись, вручал Толику беляш. Толик с беляшом взбирался на сиденье. Рядом с дядей Колей.

Перед старинными часами Марка сидел как перед скучающим гробом. С места на место перекладывал на столе учебники, тетрадки. Унылое шло самовнушение: это я уже сделал, это вроде... тоже, по этому наверняка... не спросят, а это – ерунда, запросто.

Когда слышались быстрые шаги матери – хватал ручку. Небрежно этак, запросто выделявал ею какие-то загогулины, каракули. Матери не видел – весь в работе... Маня почтительно прикрывала дверь. Снова висел на ладошке, с тоской смотрел на качающийся маятник часов: ну когда оно там накачается (время)?

Отмучившись ровно полчаса, вылетал в коридор. «Сделал! Сделал!» – всё сметал на своём пути преувеличенной громкости голос. (Так подскакивают и голосят, чтобы их не трогали, на болоте чибисы-петушки, отвоевав себе крохотную территорию.) Сразу нырял в зрительный зальчик, как из-под сонного одеяла выдёргивал Толика наружу, и они торопились по лестнице к колоннам, к центральному входу, чтобы попасть, наконец (и мороженое забыто), в большое единое фойе Красного и Синего залов.

Здесь всё интересней. Гораздо. И натёртый мастикой пахучий паркет, который так и хотелось понюхать (пробовали один раз с Толиком, вставали на коленки и нюхали, но контролёры... в общем, ладно), и кудрявые опять же колонны кругом, правда, квадратного вида, не круглого, как снаружи. И ещё одна – только лепная, белая и с люстрой посередине – пышная клумба, наклепленная на потолок. И ряды сидений со зрителями под ней и перед эстрадой, где впереди

оркестра всегда встаёт и объявляет музыку дяденька-скрипач, удерживая скрипку со смычком – как Буратино. И сам оркестр, закидывающийся трубами и бабабáхающий размашисто по барабанам. И читальная раскрытая комната, где всегда над досками присту́кнулись шахматисты и где здоровенные вуалехвосты походили на дворников с мётлами, подметающих в двух аквариумах. И тоже раскрытый, но приподнятый буфет, где ешь и всё видишь: и оркестр, и внимательные головы людей перед оркестром...

А на втором этаже если? По двум мраморным лестницам, с двух сторон вестибюля можно забежать на него – и четыре двери в два отдельных зрительных зала. В одном и стены, и лепные узоры по стенам, и потолок – всё синее (Синий зал), в другом – всё то же самое – только бордово-красного цвета (Красный зал). И там уже стаивает свет, и зрители, как по команде, как один, начинают дружно сдирать шляпы и кепки (до этого – все в шляпах и кепках!)... А если ещё снова сбежать вниз...

Но... но однажды Толика увидел внизу Прекаторос. Одного. Стоящего возле колонны. (Марка забежал в туалет. Толик вдумчиво ждёт.) «Это ещё что за Бомбей тут стоит? – строго спросил у контролёров. – Чей он? Где родители?» Две пожилые женщины в коричневых форменных халатах с шитьём по груди зашептали ему с двух сторон, привстав на носочки. «...Всё равно – вывести и больше не пускать. Пусть они там, внизу, клуб свой устраивают. «Весёлых и находчивых». Есть у них там один – Постоянный Председатель...» Ушёл в кабинет, хлопнув дверью.

Выбежавший из-за портьеры туалета Марка тут же был подхвачен с Толиком тётушками под локотки и выведен за остеклённую дверь. Толик хватался за дверь, дверь нельзя было закрыть, поэтому пальцы Толика тётушки – отдирали...

Постояв, Марка сказал: «Идём, Толик, нечего тут... упрашивать». Взял его за руку, и они пошли вдоль колонн, и стали спускаться вниз, к кассам, в свой Зелёный зал, где им и было место.

Маня Тюкова несколько дней не разговаривала с Прекаторосом. Будто в упор его не видела. Прекаторос спросит её про что-нибудь – ну там о посещаемости, к примеру, – молчит, голову отвернула в сторону. И так несколько раз. Только хочешь... а она в конторку уйдёт, дверью хлопнет. И всё это при сотрудниках, на глазах у всех.

Эдуард Христофорович вынужден был вызвать её в свой кабинет. Официально. Посланной билетёршей. Чего до этого из конспирации никогда не делал. И как теперь с ней разговаривать, как называть: на вы? на ты? Хоть и один на один в кабинете, но телефон вон. На столе. Подзванивает нередко, гад... «...Поймите, Мария Петровна, мы же с вами в кино-театре работаем, с людьми, здесь же учреждение культуры, а не этот... как его?.. не паноптикум какой, где эти... как их там?.. ну, в общем, нельзя же! Он мне всех зрителей распугает! А если комиссия? (Маня уже отворачивалась, кусала губы.) Ну, давайте, давайте – Беляша ещё вашего приведём. Для букета. Посадим их в первый ряд!.. Ну чего вы так переживаете за них, Мария Петровна! За Беляша этого, теперь вот ещё за одного... Пусть их там, у вас, внизу, там публика попроще, пусть их там... сидят... (Эдуард Христофорович помялся, собираясь сказать сердечно, участливо, от души...) И потом, Мария Петровна (вы только не обижайтесь на меня), что это за дружба такая?.. Вы, как мать – и такие... друзья у вашего сына... Один... этот... Беляш... второй – Бомбей какой-то... Что же, нормальных детей, что ли, для него нет?.. Странно даже, честное слово...»

Из кабинета начальника Маня Тюкова вытолкнулась, глотая слёзы. Долго как-то – точно запечатывая там всё: своё унижение, свою зависимость, обиду, злость – закрывала дверь. Точно боялась, что дверь раскроется – и всё ринется за ней вновь, сомнёт, собьёт с ног, поглотит.

Прекаторос жестоко страдал за столом. Моложавые тётушки в форменных халатах распахивали Мане Тюковой остеклённую дверь, успевая подмигнуть и немо хохотнуть друг дружке. Но... закрывай, не закрывай дверь начальника-любownika, а ничего изменить за ней уже

нельзя: все унижения, обиды, вся зависимость от него тянулись уже годы – и Марке с Толиком наверх вход был заказан раз и навсегда. Одному Марке – ещё куда ни шло: могли и пустить иногда. Если Толик рядом за руку – идите, идите, ребята, к маме вашей идите, в Зелёный зал! Да Марка и не рвался вовсе теперь наверх, в чёртовы эти залы. С оркестрами ихними, с аквариумами, с шахматистами. Да пусть их там, раз так! Больно надо!.. А надо было – «больно»...

3

За Зелёным залом, дальше по притемнённому коридорчику, за аппаратной, находилась ещё одна комната, последняя – с низким потолком, но просторная, резко высвеченная с потолка хлопотливым городом из люминесцентных ламп. Аккуратно вдоль стен стояли фанерные щиты под афиши, на маленьком столике у двери разложены были банки и тюбики с красками, торчали пучки кистей и кисточек разных размеров. Здесь работал художник со странным для человека еврейской национальности сочетанием имени и отчества – Фаэтон Кузьмич... (На вопрос Прекатороса, почему так... такое имя-отчество, художник как-то дьявольски рассмеялся, обнажив жёлтые зубы, имеющие вид зубьев различной конфигурации: «Зашифровка, товарищ директор! Так удобней!») Хотя фамилия у него была нормальная: еврейская – Кувшинкин.

С узким белым, каким-то очень революционным челом, над которым стоял путаный лес очень жёстких волос, с глазами, как с изготовившимися запуститься свёрлышками, он выглядел худым, тщедушным. В каких бы брюках ни приходил на работу – смахивал на комбинезонного английского докера из кинохроники, у которого держится всё только на широких лямках-помочах. Но двигался быстро, устремлённо.

Когда он работал красками, кистью – увидеть было трудно. Он постоянно печатал. На портативной пишущей машинке. Изогнутый перед ней сутулой курительной трубкой. Печатал очень быстро, всеми десятью пальцами. Перьевые рычаги на машинке летали с треском, яростно, неостановимо. Так, наверное, трещит хвост у токующего тетерева. Или фазана. Если он токует, конечно, когда-либо...

Опять же на вопрос Прекатороса, что он такое всё время печатает, Фаэтон Кузьмич вырывал из машинки пучок листьев, как салат с грядки, совал Эдуарду Христофоровичу, с жаром объяснял. А Прекаторос, прочитав только слова «Генеральному прокурору СССР, копию в Прокуратуру РСФСР, копию в газету «Правда», мало уже понимая, о чём тараторит этот нервный человек, почти не слыша, с тоской только думал, что зря взял этого парня на работу, жестоко – зря; что не избавиться ему теперь от него вовек – по судам затаскает.

Прекаторос отдавал все листы автору и, как заболевший, уходил. А машинка торжественно взрывалась с новой силой.

В мастерскую приходили три старика-еврея. Похожие на логарифмы. На трёх стульях в ряд сидели, опершись на палки – вытягивали пальцами вьющиеся бородёнки. Потом выгоняли Марку и Толика, горячо втолковывали что-то Фаэтону Кузьмичу. Перестав печатать, Фаэтон Кузьмич, потупясь, слушал. Евреи говорили по очереди. Иногда принимались говорить все. Враз. Как давали по Фаэтону Кузьмичу залпы.

Потом у Фаэтона Кузьмича как-то незаметно тоже выросла бородка, тоже вьющаяся вперёд, как тонкая роспись. Но на машинке он печатать не перестал. И евреи опять приходили – думали, опершись на клюшки. Затем, выгнав Марку и Толика, ещё более горячо вдальбивали что-то Фаэтону Кузьмичу. Даже вдохновенно пели дрожащими голосками.

Когда птичьим шагом шли мимо Зелёного зала на выход, Маня Тюкова всегда предлагала им посмотреть фильм. Документальный. «Обыкновенный фашизм». Старики не удостаивали её даже взглядом. Однако в следующий раз, когда им нужно было пройти к Фаэтону – долго и робко топтались у входа, опасаясь, что у них потребуют (как это сделала однажды Стеблова)

входной билет. К досаде Стебловой, Маня стариков всегда пропускала. Без всяких. Старики радостно шли. Царапали даже головы Марки и Толика крючкатыми пальцами. Но посидев и подумав – как всегда, выгоняли за дверь и принимались за Фаэтона. Машинка, конечно, в это время молчала. «Мы же свободные люди! А?..» – точно сообщникам, хитро подмигивал старикам-евреям Фаэтон Кузьмич. И смеялся, обнажая зубы свои, как, по меньшей мере, слесарный цех...

Несколько раз он подбивал Маню Тюкову бастовать. «Это мизер! Мизер!» – картаво выкрикивал он (имелась в виду зарплата). Маня Тюкова отказывалась. Тогда он кидался к Стебловой. «Согласитесь – мизер! Мизер!» Стеблова рушилась от него в уборную. Вместе с рушившейся там водой. «Сюда нельзя! Сюда нельзя! – кричали ему из-за двери две женщины из аппаратной, закрывшись. – Здесь аппаратная!..»

Он брал голову Толика в две ладони. Долго всматривался в неё. Как в эру Мезозоя. «Гениальнейшая будет голова!» – Отпускал. Поручал ребятам сбегать на почтамт, опустить пять писем. Но... в ящик, где написано – «для иногородних». Ясно? А потом будет премия. Марка и Толик с письмами радостно бежали. Премия всегда бывала ровно пятьдесят копеек. Как раз на два сливочных. На два языка!

Всего через десять минут они сидели и лизали развёрнутое мороженое в первом, родном своём ряду Зелёного зала. Коля за компанию наминал свои беляши – кроме них, как известно, он ничего больше не признавал.

Фильм «Обыкновенный фашизм» шёл в Зелёном зале уже не первую неделю. Тем не менее смотрели его с большим интересом. Обсуждали, что-то объясняли друг дружке, на экран показывая пальцами. Бегали на экране, стреляя дымом, автомобили начала века, похожие на этажерки. Шофёры в очках и крагах прыгали на них под самыми небесами, всё время отчаянно надавливая грушу.

Когда движение на экране останавливалось и показывали какие-то старинные дагерротипы коричневатого цвета – все трое разом замирали, точно загипнотизированные. Шли чередой какие-то банкиры, финансисты, предприниматели. Вот показали целую группу. Впереди сидел, нога на ногу, явный немец. Подмороженный крахмальным воротничком. Монокль в глазу – будто прорубь с водой в черепе. Рядом с ним пришипился то ли старший брат его, то ли отец. Старик с тощей шеей. Торчал из стоячего воротничка – как давнишний выстрел из одностволки. Но тоже с моноклем. И стояли служащие, и лоснящиеся причёски на прямой пробор обливали их черепа, будто чёрные знамёна с белыми древками...

Но вновь на экране начиналось движение, мелькание, что-то куда-то побежало, поехало, полетело, и троица тоже оживлялась. Коля тыкал пальцем: «Гитлер!» Чуть погодя опять: «Гитлер!» А Толик выносил лицо к друзьям, поведывал обоим с уважением: «Фатытты». Второе выученное им слово. Когда видели, как группа немецких солдат, по команде, как один, охлопывается по ляжкам перекрещёнными руками, подготавливая себя к русским морозам – смеялись. Коля и Марка. Толик начинал смеяться позже. Когда уже смеяться не надо было. Зрители, в основном бездельничающая молодёжь, покатывались. Смотрели не столько на экран, сколько на оживлённую троицу в первом ряду, комментирующую фильм. А оттуда доносилось – сначала разъясняющее: «Фатытты». А потом короткое, резкое: «Гитлер! Гитлер поехал!»

На дню несколько раз к троице присоединялся ещё один человек, четвёртый – Фаэтон Кузьмич. Присоединялся как к ученикам своим, воспитанникам. Обняв, придвинув к себе Марку и Толика, в полумраке строго поворачивал к ним лицо. То к одному, то к другому. Как экзаменовал. На экран не смотрел. Что там экран! Вот же – самые жизненные персонажи! У него в двух руках! Громко смеялся. Отдохнув таким образом, уходил печатать. Причём снимался с места по-молодецки, пружинно. И гордая взлохмаченная голова, как театр одной тени, без церемоний пересекала весь экран, удаляясь по нему к боковому выходу из зала. А остав-

ленные ученики, не теряя ни минуты, принимались с новым воодушевлением объяснять друг дружке, тыкать пальцами: «Фатыгты! Гитлер, Гитлер! – П-поехал!...»

«Они каждый день срывают показы фильма!» – нашёптывала Прекаторосу Стеблова, показывая глазами на троицу, которая, честно отработав, в перерыве между сеансами закусывала беляшами, там же, на рабочем месте, в первом ряду... Но Эдуард Христофорович только разводил руками, доверительно напоминая Стебловой, что тут, в Зелёном зале – вотчина Марии Петровны. Ничего не поделаешь. Тогда Стеблова начала капать на Кувшинкина, на Фаэтона Кузьмича. Как на главного, истинного виновника всего происходящего. Идейного вдохновителя происходящего безобразия в Зелёном зале... Прекаторос сразу хмурился. Слушал жаркое стрекотанье машинки, вылетающее из темноты коридорчика. Наверху у себя в кабинете – мрачно думал. Нужно было что-то решать. Да, решать. Пока не поздно. Посматривал на телефон. Чёрный телефон подзванивал как-то поперёк. Как болезненные экстрасистолы давал.

А Стеблова внизу садилась обратно на стул с чувством выполненного долга. Складывала руки на груди и поглядывала теперь на Маню, спящую с ведром и тряпкой. Как бы эту ещё свалить? Как выжить эту чертовку? И бегаёт всё время, стервозка, и бегаёт! Выслуживается, гадина. Иванову-кассиру с большой книгой она, Стеблова, свалила. Да, свалила. Но как – эту? Спит с ней Прекаторос – или бросил уже? Вот вопрос! Дряблое стёганое лицо в клоповьей умершей рыжине брезгливо наморщивалось...

А Иванову-кассиру видели летом. И беременную. Вот что удивило! Она несла большой живот в джинсах – как тонконогое кенгуру! Увидев Маню у кинотеатра, хотела свернуть на площадь и подойти, замедлила даже шаг, но разглядела-узнала Стеблову, стоящую с Маней рядом... и пошла дальше, гордо откидывая голову. Тем же перьевым индейцем с раздувшимися отмазанными губами... «Ишь, ты! Гордячка какая! Не подошла даже!...» – гундела Стеблова. «Счастливая...» – умилялась Маня, продолжая смотреть вслед.

Марка не удержался, догнал и пошёл с Ивановой в ногу рядом, закидывая солнечное лицо к ней и что-то говоря. Она положила руку ему на плечо, как старому другу, шла, слушала и смотрела вдаль. На углу купила ему мороженое, потрепала за вихры – направила-подтолкнула к матери, так и маячившей со Стебловой у кинотеатра. Марка побежал, впереводку припрыгивая, разворачивая длинное мороженое.

4

Вечерами нередко Маня с детьми выходила из кинотеатра вместе с Фаэтоном Кузьмичом. По площади вместе шли, и к улице, чтобы там свернуть за дом, к остановкам. Фаэтон Кузьмич вёл Марку и Толика за руки, наклонялся к ним, что-то говоря и смеясь. В вечерней тени через дорогу докручивал эпилептоидный свой танец на голове бедняги-Чернышевского голубь. По выбитым рельсам скакал глазастый, как конь, полупустой трамвай. А от колонн мрачно смотрел на весёлую семейку, пересекающую площадь, директор кинотеатра «Родина» Прекаторос. Смотрел до тех пор, пока семейка эта новоявленная не сворачивала за дом, за угол... Та-ак. Эдуард Христофорович сопел, думал. Нужно что-то решать. Что-то делать. Но – как? Закат был близок, красен, как гипертоник...

...Прекаторос терял голову в темноте коридорчика за аппаратной. Он лапал женщину, бормоча как в бреду: «Через два дня ровно месяц будет, ровно месяц, Маша! Я не могу! Я с ума сойду!» Наблюдалось явное семенное бешенство у мужчины. Женщина отбивалась, как могла, обещала, что придёт, что завтра! Завтра! Господи! Что она может сделать?! Что?! Господи! Ребёнок ведь! Ребёнок!

Вырывалась как-то, одёргивала платье, кофту, быстро шла на свет, косясь на кемарившую на стуле Стеблову. А Прекаторос качался как бык, промазавший по корове, ничего

не соображая. И били в голову сзади пулемётные очереди пишущей машинки... Ах-ты-сволочь! Врывался в мастерскую художника. «Ты когда будешь работать, а? Писатель чёртов, когда?!» Фаэтон Кузьмич привставал со стула. «Что с вами, товарищ директор? На вас лица нет. Вам плохо? Заболели? Может, «скорую»?» Эдуард Христофорович мотал головой, готовый взречь, кинуться на ненавистного. «А-а-а!» – Поворачивался и, выходя, ударял дверью так, что рисовались по оштукатуренной обвязке двери мгновенные ветви щелей. Как после землетрясения, как после первого подземного толчка.

«Да ятит вашу!» – шёл, ревел Прекаторос. Стеблова падала со стула и ползла, Маня торопливо заметала, заметала веником в углу несуществующую пыль. Жутко грохала и входная дверь. Да так, что на экране Зелёного зала сбивалась рамка. Женщины из аппаратной скорее её поправляли...

И всё же стукнул на Фаэтона Кузьмича не Прекаторос. Не успел, кто-то опередил его. Видимо, та же Стеблова... К Фаэтону Кузьмичу в мастерскую пришли двое. С университетскими значками на пиджаках. Лыбые и вежливые, как филологи. Забрали пишущую машинку, Все Папки С Матерьялами, все бумаги Фаэтона Кузьмича, неотправленные письма, самого автора вывели и вынесли всё за ним (когда выносили – создавалось впечатление, что переезжает канцелярия). И увезли всё вместе на чёрной «Волге». Благо, везти недалеко...

Фаэтон Кузьмич вернулся вечером. Без машинки, без папок, без бумаг. Испуганный, сидел посреди мастерской, точно до конца не веря, что отпущен. По-птичьи приклонял голову, словно слушал щелкающий, трещащий город на потолке. Состоящий из одних люминесцентных ламп...

И в последующие дни так же вслушивался – рука с кисточкой вдруг замирала перед стоящей фанерой. Или над валяющимся на полу бело-красным лозунгом. Перед которым стоял на коленях...

Такое состояние длилось четыре дня. (Старики-евреи ни разу не появились. Пропали. Будто их никогда не было.) На пятый день вечером из-под двери мастерской потянуло дымом. Это сразу учуяли. И Маня, и Стеблова, и женщины две из аппаратной... Заспешили, побежали, распахнули дверь...

Мастерская была полна дыма. Но Фаэтон Кузьмич точно не чувствовал его, не кашлял в нём, не чихал. Совершенно спокойно брал чистые листы бумаги из разорванной новой пачки и кидал их на костёр, разведённый им у стены. За пылающим огнём, словно без конца выходящие из него, как из воды, были нарисованы прямо на стене три старика-еврея. Нарисованные в ряд, в профиль – слепо-лупоглазо смотрели в небо. Все одинаковые – с усложнёнными черепами и вьющимися бородёнками – как один и тот же растиражированный логарифм... Фаэтон Кузьмич подкидывал под них свежие листы.

Маня бросилась. «Что вы делаете, Фаэтон Кузьмич!» – Кашляя, закрываясь от дыма рукой, стала топтать, колотить туфлей огонь. «Когда уходишь – нужно сжигать за собой мосты...» – отрешённо говорил Фаэтон Кузьмич и всё подкидывал чистые листы. В дверях, кружась, боролась с хлещущим огнетушителем Стеблова. Выпучив глаза, лез в разор и дым Прекаторос...

...Потом толпой его выводили. Два санитара вели, придерживая за локти. Порттик и колонны кинотеатра, как известно, были обгажены голубями. Приостановив себя и всю толпу, проникновенно, счастливо Фаэтон Кузьмич сказал, глядя наверх, на голубиный помёт: «Мумиё. Божественное мумиё. Долго разыскиваемое мумиё...» Направился к колонне с явным намерением лезть наверх, добывать это мумиё. Его оттащили, повернули, повели дальше по площади, уже крепко держа за руки. Сопровождающие по одному, по двое оставались на площади. Торчали кто где. По-прежнему вели санитары и вязались с боков Прекаторос и Стеблова.

Его засовывали за тротуаром в тёмный УАЗик с еле угадываемым красным крестом. Солнце замерло между домами. Задумчиво дул в свою флейту в нём греческий мальчик. На крыше, вспыхивая, голуби крутились, как инквизиторы...

«Он был ненормальный, понимаете? Ненормальный, – потный, в саже, шёл обратно Прекаторос. Объяснял всем, старался: – Мне сейчас сказали: он состоит на учёте в психбольнице. Понимаете? На учёте. Ненормальный...»

5

Фотоаппаратик на тонких ножках походил на очень длинноногую цаплю. Ещё три фотоаппарата стояли в разных местах комнаты. Большие. Как амбары. Марка не знал, в какой смотреть. Длинной щепотью, сверху, носатый фотограф больно повернул голову Марки. Так поворачивают гайку. Отступил к фотоаппарату. К маленькому. «Смотри сюда!» Ещё раз прищурился, изучая фотомодель. Взялся за тросик...

– Не двигайся! Сейчас вылетит птЫчка!

Марка испуганно смотрел – птЫчка не вылетала. Вместо птЫчки, внутри аппарата, за линзой что-то чёрно зашуршало, скользнуло и пропало. Будто летучая мышь когтистым крылом царапнула.

– Всё, мальчик... Чего сидишь?

– А где птЫчка?

Фотограф усмехнулся:

– ПтЫчка на улице... Иди, иди, мальчик...

Марка вышел к матери в коридор. Высунувшийся фотограф шмальнул глазом по молодым коленкам Мани. Сам – инкогнито. Еврей. Или грузин. С усами, как моршанская махорка.

– Следующий!

...На маленьких фотокарточках Марка получился как-то колом. Каким-то высунутым. В ожидании птЫчки...

Сквер был подстрижен под бобрик. Как чай. С двух сторон сквер обрамляли пересекающиеся улицы. С двух других – на некотором возвышении – дома. На бугре, над сквером справа стояло здание. Всё – как солнечная батарея с хитрым стеклом. Вот к нему, однажды октябрьским утром, и прошли через сквер трое: уверенно шагающий мужчина в годах, молодая стройненькая женщина на торопящихся каблучках и дёргаемый ею за руку мальчишка с болтающимся за спиной новым спортивным мешочком, как с бутафорской конфетой трюфель.

Через пять минут из здания вышли только двое: мужчина и женщина. Мальчишка остался внутри.

Мужчина и женщина спорили. Женщина говорила, что Он не доедет отсюда, не знает автобуса, что нужно ждать. Мужчина говорил, что Он прекрасно доедет, что знает, что ждать не нужно. Пошли по аллее вдоль ампутированных кустов. Недовольные друг дружкой, словно отчуждённые. Женщина села на край скамьи, упрямо скосив голову. Мужчине ничего не оставалось, как тоже сесть, пустив руки по скамейной спинке.

На пьедестале завис белый пионер. С отломанным горном и частью руки. Фонтан ещё тут был пустой. Как проигравшаяся рулетка...

– Но послушай...

– Он же будет искать! Я же обещала ему! Как вы не понимаете!..

... – Скорее, дети! Скорей! Время! – раздавался голос в сыром, остро шумящем воздухе душевой.

Никогда Марка не мылся в бане, в душе, только в корыте, дома, мыла мать, поэтому душ над Маркой молчал. Марка смотрел вверх на лейку, словно ожидая от неё чуда. Трогал, как уговаривал, скелетно-фигурные железные вертушки на двух трубах. Справа и слева от Марки, за кафельными разгородками, сверху вовсю хлестало, и два мальчишки, одинаково закинув головы, весело тёрлись мочалками.

– Время, время, дети! Скорей! – Не переставая командовать, тётенька-тренер, прижав голову Марки грубой матерчатой грудью, вертанула вертушок.

Вода ударила резкая, холодная, Марка подскóкнул, но сразу как залубенел. Розовое мыло было в руке. На отлёте. (Марка словно не знал, что с ним делать, и берёт от воды.) Мочалки не было. Из руки мыло выскользнуло. Марка кинулся за ним и тут же обратно в огородку заскочил, опять выкинув руку с мылом в отлёт. Зубы его уже постукивали.

– Всё, дети, всё! Время!

Дети выключали душ, то там, то здесь обрывалась вода. Маркин душ хлестал. Марка стоял под ним всё так же – пригнувшись, держа мыло в стороне. Грубая в купальнике грудь вновь толкнула, прижала голову его к стенке – и всё, наконец, сверху оборвалось. Марка подрагивал, живот его тужился, когда он быстро шёл со всеми в раздевалку, чтобы вытереть лицо («Только лицо, дети! Только лицо! И сразу бегом в зал!»). И бежал потом в криках со всеми в зал. Неуверенно крича...

Голоногая шеренга ребятишек стояла на кафельном полу в полуметре от бассейна, где сине-зелёная вода в ожидании слегка волновалась. Девочки стояли отдельной командой, женской, в глухих мокрых купальниках казались плотненькими, гуттаперчевыми. Мальчики были в плавках разных цветов. На Марке плавки походили на мокрый длинный сачок. Выглядывая с краю шеренги, он их поддерживал рукой, за завязки.

– Равняйся!

Дети отвернули лица от Марки.

– Смирно!

Дети вскинули головы. Марка тоже. На потолке ничего не было. Только глазастые плафоны.

– По порядку номеров... рассчитайся!

Первая-вторая-третья-четвёртая-пятая! – резко вертели ненужными лицами девочки. Потом мальчики так же пошли: шестой-седьмой-восьмой-девятый!.. На Марке всё оборвалось. Марка выглядывал, поддёргивал плавки...

– Ну! Новенький!.. (Марка выглядывал, искал новенького)... Так. Ладно. Дети, слушай мою команду! Дружно – всем – в воду... марш!

С криками дети начали сигать, бросаться в воду. Подскакивали, по грудь, по пояс в воде, баловались, по-прежнему неумолчно кричали – железно-ведёрное эхо металось в гулком помещении. Марка тоже хотел было сигануть. Однако, суется, больно саданулся об острый кафельный край бассейна, прежде чем упасть в воду. Коротышка, который стоял с ним в шеренге рядом, тут же открыл по нему водяной огонь, сильно шмаляя воду ладошкой. Марка закрылся локтями, ничего не видел от воды, не слышал, не мог в ней говорить...

– Всё, всё, дети! Хватит! Хватит!

Дальше, под команды тренерши, маленькие пловцы выполняли на воде разные упражнения: как пароход плицами, очень шибко вертели руками («Бойче! Бойче! Дети!»), согнувшись, втыкали в воду острые ладошки, как бы плыли, оставаясь на месте; по одному, оттолкнувшись от дна, щучкой скользили по воде («Щучкой! Щучкой!»), пока не тонули и не вскакивали на ноги, ладошками смахивая, смахивая воду с лица. Были накиданы в воду тренером несколько плавательных досок и широкий надувной матрас. Начали плавать на досках, колотя ногами воду, а на матрасе даже плавать по трое, так же бойко молотя ножонками.

В чёрном купальнике, слегка наклоняясь вперёд, женщина-тренер вдумчиво ходила туда и обратно, поджарая, как гончак. «Веселей, дети! Веселей! Ноги работают! Ноги!»

Медленно Марка переступал, передвигался в стороне. Был как-то отдельно от всех. Изредка имитируя действие – нервно раздвигал, раздвигал пальцами воду. Раздвигал, раздёргивал. Словно водяную паутину. Словно перед тем, как нырнуть. И не нырял. Только когда освободились, заболтались на воде пустые доски, когда дети стали выполнять что-то другое – тоже попробовал. Взял одну и попытался закинуться на неё. Как на лошадь, на коня. Конечно, перевернулся и ушёл под воду, выскочив тут же обратно, протирая, протирая глаза кулачками, плача водой. Ещё попробовал – толкнулся и лёг. И вроде бы поплыл, поехал даже, но опять резко опрокинулся на бок и ушёл под воду. И выскакивал каждый раз из воды с облитой сопельной головой. И с хлопающими, хлопающими по глазам ладошками.

Вдруг почувствовал, что на нём нет плавков, что потерял их. Схватился сразу в воде двумя руками за пах, заоглядывался, завертелся, высматривая на кафельном дне плавки, но вода, взбаламученная вода моталась волнами, дно пятнала тенями, всё искажала. Вроде бы увидел, нагнулся, присел, потянулся рукой – нет, ошибся. Снова вцепился руками в пах, готовый уже плакать. Двигался, двигался боком, ощупывал дно ногой. В одну сторону, потом в другую. Тут тренерша крикнула, что минутный перерыв, и все опять как обезумели: закричали, завывали, прыгивали, захлопали по воде руками, как из рваных подушек выбивая водяные перья. Коротышка-подлец тут же открыл по Марке водяной огонь. Марка закрывался одной рукой, что-то кричал, плакал...

После того, как урок закончился, и дети, не забыв покричать под гулкой свод, ловко выплывали из бассейна наверх, с усталым взрослым щегольством вытаскивая за собой одну ногу, как спортивную победу – в воде остался один Марка. Он точно сильно уменьшился ростом. Был точно без рук. Точно потерял их в воде.

Тренер сказала ему – где. Марка побрёл туда, стал шарить ногой. Белые ягодички высвечивали из-под воды, играли, как зеркала. Девчонки прыскали. Коротышка гыгыгыкал.

– Рукой, рукой возьми! – последовал приказ. Марка достал кое-как, хлебнув два раза воды. Хлорка, вообще-то. Ладно. Отвернувшись от всех, припрыгивая на одной ноге, судорожно пытался вдеть другую ногу в плавки. Разом опрокинулся, ногами создав вулкан из воды. На кафельной дорожке все покатались. Прыжки пошли, крики. Болельщики. Команда. Марка упорно вдевался. Падал. То вбок, то назад. Снова подпрыгивал на одной ножке. Надел-таки! Судорожно затягивал, завязывал на боку завязки.

Нужно было выйти наверх по лесенке с поручнями, сбоку, но почему-то упорно ходил и вспрыгивал на борт, и слетал в воду. То в одном месте, то уже в другом. Ходил, взлетал на борт... и падал с борта. Смех, гвалт, крики стояли невероятные. Эхо металось в высоком помещении – железное, нестерпимое, будто от тысячи кастрюль, тазов. Такого цирка стены эти не видели никогда.

Марку выдернула из бассейна тренерша. Под мышки. Плавки истекали на кафель водой, сильно удлинённые, будто мотня невода без рыбы. Марка удерживал их, отвернув голову в сторону. Ребятишки досмеивались, облепив тренершу. Со смеющимся интересом в глазах та разглядывала мальчишку: откуда такое чудо пришло? Верхние зубки её торчали из удивлённого ротика наподобие стиснутой скобки...

Из здания Марка вышел последним. От центра сквера весело припрыгивали домой по разным аллеям ребятишки, по трое-четверо, подкидывая на спине спортивные сумки. Марка прошёл и по одной аллее, и по другой – матери нигде не было. Вернулся к центру сквера, решил ждать. Наверное, в магазин пошла.

Долго смотрел на белого пионера на пьедестальчике. Пионер походил на белый костяной опасный огрызок... Круглым камушком Марка запустил в пустой фонтан – и камушек, пролетев быстрые два круга, вылетел к нему же, Марке. Здорово! Ещё запускал...

Стоял неподалёку от работающего, вертящегося поливателя. Будто ударяясь обо что-то, поливатель разносил по бритой траве дождь. В водяную поднимающуюся пыль забегали радуги – и убегали обратно. На краю поляны курил дяденька-садовник в сером фартуке. Травокосилка у ног его была – как маленькое животное. Сперва Марка думал: зачем дяденька поливает – ведь осень же? А потом: заведёт или нет он мотор травокосилки? Нет, не завёл, потащил куда-то задом наперёд. Будто за хвост.

Марка вернулся обратно к центру сквера. Снова долго смотрел на обломанного пионера. Прошло полчаса, наверное, как он здесь, в сквере...

– Пучеглазый увёл... – сказал себе Марка. И, оглядываясь, запоминая и пионера, и пустой фонтан, и висящую над поляной водяную занавесь с весёлыми бегающими радугами, – пошёл из сквера. (На выстекленную секциями стену здания на бугре справа почему-то даже не взглянул. Как будто её и не было в сквере.)

Через полчаса он был на площади перед Горсоветом. Горсовет он сразу узнал. А вот герб, сквозящий над ним – как он его когда-то называл – не помнил... Вдруг увидел отца!

– Папа! – побежал, бросив мешок. – Папа!

Такой же, как Филипп Петрович, мужчина уходил с площади – пряменькая спина ходко двигалась в великоватом пиджаке, руки по-боксёрски гуляли...

– Папа!

Мужчина остановился – точно на полушаге. Резко повернулся. Конопатое лицо, хлопающиеся белёдые ресницы...

– Обознался, да? Обознался, мальчик?

Марка молчал.

– Ничего... Бывает... – Мужчина почему-то с беспокойством посмотрел по сторонам. Повернулся. Пошёл...

Словно погибший жест руки, вынесло из мешка далеко вперед на асфальт розовое мыло. Замерли, остановив вращение, две половинки разлетевшейся мыльницы... Марка стал всё собирать.

А поздно вечером над остывающим закатом позади тёмного притихшего барака – почти во весь горизонт – протянулся дымный, словно издохший крокодил. Кирпичные трубы под ним казались мелкими, игрушечными. И как обкурившаяся яга с беспомощной везущейся метлой, сквозь дым тащилась в противоположной стороне пятнистая луна.

Берегите запретную зонку

1 «Верончик! Веро-ок!»

Так, отмечая свои промежутки времени, своё пространство, явственно, заведённо, как на целый день всполохи клушки, доносилось из чьего-то двора.

– Верончик! Веро-ок!

Женщина словно без конца проверяла, прокрикивала над городком короткое своё материнское время. Словно удерживала его там, в знойном ветерке, чтобы не так быстро прошло...

– Верончик! Веро-ок!

Между тем женщина была занята делом: подбирала отлетающие от топора домработницы рогульки, палочки, подкидывала в костерок, где на таганке в медном тазу варилось смородиновое варенье. Тем не менее через какой-то промежуток времени, только ей одной известный промежуток, не переставая наклоняться, опять ясененько кричала:

– Верончик! Веро-ок!

На коленях, прямо на земле, колыхаясь своими глыбами и валунами, домработница рубила ветки, и ворчала, что в медном тазу сроду не варили смородинное. И не варят. Никогда. Путные люди, конечно. Дурак, чай, об этом знает. Настырно бодалась с топором голова, похожая на бобину с пряжей, с сердитым раздёрнутым пробором посередине. Да, не варят. Сроду не варили. «Не ворчи, Глаша, – спокойно говорила женщина, – руби, знай». И, не прерывая занятия, дождавшись конца промежутка, услышав его в себе, опять выпускала к небу ясененький голосок:

– Верончик! Веро-ок!

– Да здесь она, здесь! Чего орать-то! За баней вон...

– Да? – удивлялась женщина, глядя на баньку, свежесрубленную, золотистую. Но словно сразу забыв, зачем туда смотрела, опять принималась собирать ветки...

– Верончик! Веро-ок!

– Да за баней она! За баней, Марья Палавна! Господи!

– Да? За банькой? – Женщина ходила, подсовывала ветки под таганок. Таганок стоял, как карлик, наказанный тазом...

– Верончик! Веро-ок!

– Ы-о-о! еп... пып... тыш...

Даже переброшенные на спину, солдатики-прелюбодеи продолжали отрабатывать куда-то лапками. Как трое... как четверо на длинном велосипеде!.. «Склешились...» – выпучивала глазёнки Верончик. Стукала, стукала обломком кирпича. Вот вам! Вот вам! Зло... едучие. Да, злоедучие. На земле оставалась красно-рябенькая лепёшка.

– ...Верончик! Веро-ок!..

Можно теперь продвигаться-прокрадываться дальше, задирая сандалии, высматривать. Внезапная остановка. Замершая на одной ноге. «Опять склешились...» – произносилось с удивлением и даже испугом. Кидалась, шарала. Вот вам! Вот вам! Злоедучие...

– ...Верончик! Веро-ок!..

Выбежала из-за баньки с гирляндой солдатиков на палке:

– Вот они – злоедучие!

Мать покраснела, кинулась: «Ты опять! Опять! Верончик! Кто тебя научил! Кто! Брось сейчас же их! Брось, я кому говорю!» С боязливой брезгливостью вырвана была, наконец, у девчонки палка. Женщина понесла палку. Но солдатики, спасаясь, чесанули по палке к её

руке. Женщина бросила, отскочила от палки с воплем, прижав руки к груди. Точно у неё их чуть не оторвали. Домработница прыснула, пригнулась. Стелясь, вытягивала ветку из вязанки. Точно унижала себя до её размеров. Словно в неё влезала. Однако остро ждала, что будет дальше, готовая вновь хихикнуть.

А женщина, словно находясь меж двух огней, меж огоньком... и огнищем, не знала, что ей делать. Ей пришлось втолковывать им обеим. Больше даже деревенской этой дурынде, которая ползает, мерзавка, возле вязанки, будто ни при чём. Да, втолковывать, да, что они не склешшились, нет, а они... – дерутся. Вот! Они дерутся! Верончик! Просто дерутся!

Домработница пошла кашлять, словно совсем накрывшись вязанкой. А Верончик стояла очень хитренькая. Точно выглядывала из подполья. Она знает тайну. Стыдную. О которой нельзя говорить. Хи-хи-хи.

– Склешшились!

Спина домработницы затряслась.

– А! злоедучие! – всё не унималась, подбавляла несносная девчонка.

Воспитательница то коротко смеялась вместе с подопечными, то всхлипывала, уже одна, ломая руки. Ведь нужно заменить одну только букву в поганом этом слове... ведь если случайно она выскочит у ребёнка, тогда – всё, конец, она, женщина, не выдержит. Просто не выдержит. Умрёт, упадёт!

– А-а, злоедучие!

Вот. Опять рядом! Как выстрел! Как головоломка. Игра в школе. Нужно отгадать одну букву! Всего одну! Кто угадает букву! Кто первый!.. Нет, это невыносимо. Сейчас брызнут слёзы. Ну да, ну да! Они злоедучие, Верончик! Они хорошо едят! Они молодцы! Они очень хорошо кушают! И мы тоже покушаем! Варенья! Верончик! Верончик любит варенье! Ох, как любит! Верончик зло... еду... ебу... (Господи!) очень едучий на варенье! Очень! А? Покушаем?

Девчонка была подведена к тазу с вареньем. Смотри, смотри какое красивое! Бурлящее варенье раскалённо-анодированного цвета...

– Как проволока-а. Не хочу-у! Не бу-уду!

– Где проволока? Какая проволока? О чём ты говоришь? На, на, попробуй! – Женщина хватала ложку с пенками, подсовывала к губам дочери, аппетитно намазывая пенки: – Витамины! Витамины! Верончик! Будь умненькой!

– Не-ет, проволоч-ное-е. Не хочу-у! Не бу-у-уду-у!

О чём она говорит? Разве может варенье быть проволочным? Разве может варенье быть – как проволока? Женщина хватала лобик дочери. В ладошку. Нормально! Какая проволока? Верончик! Тогда со скашиванием губы и хныканьем следовало заумное, детское, что если пожевать это варенье – то будет «как про-волока-а! Одинакова-а-а!»

Неисповедимы ассоциации ребёнка! Женщину передёрнуло. У женщины начало проби-вать в зубах. Словно в клеммах. Оскомины. Жесточайшая оскомины! На девчонку мать махала рукой: только б с глаз та долой, с глаз со своей «проволокой»!..

Несносная девчонка отходила от костерка. На время всё вроде бы притихало...

Чуть погода несносная выбегала из-за баньки:

– А вот они – склешшились!

– Верончик! Верок!..

Может быть, тут и был тот исток, тот таящийся исток драмы женщины, родившей когда-то дочь...

Раза два на неделе приходили Специальные Дети. Племянницы и племянник Глафиры. Мал-мала-меньше. Задолго до обеда они переговаривались снаружи, за высоким забором... Наконец Глафира открывала калитку, и они детсадовской раскачивающейся связкой входили.

На середине двора стоял длинный деревянный стол с ножками в виде буквы Х. Вчетвером, как на плоту, как терпящие кораблекрушение, они висели на одном его конце с ложками в кулаках. А с другого конца Верончик, вцепившись в край, у них этот плот словно хитро выдёргивала, постоянно их пугала. В общем – строго соблюдалась дистанция: одна сидит на одном конце стола, четверо других – на противоположном.

Суп Глафира наливала им в одну большую чашку. Они сосредоточенно принимались черпать. Ложки с супом носили ко рту по-крестьянски бережно – на хлебе. Ни капельки не проливая. Поглядывали на Верончика. А та, в салфетке, как в растрепавшейся белой душе – капризничала. «Не буду суп! Не буду!» Бантик болтался на стоячей косичке, как колокольчик у Петрушки. Мать рядом страдала: «Ну, Верончик! Милый! Ешь! Я тебя прошу! Смотри, смотри, как мило едят дети! Как мило!.. А давайте – кто быстрее?! А? Милый Верончик или дети? А? Кто быстрее?»

Старшая из племянниц, оценивающе поглядывая на капризницу, осторожно говорила, что Верончику за ними не угнаться. Не-ет. И подносила ложку ко рту, обстоятельно втягивая суп. Другие, младшие – сёстры и брат – тоже смотрели. И дружно соглашались с нею: не-ет, Верончик не потянет, не-ет. Куда ей! «Слышишь, слышишь, что говорят дети! – подхватывала мать. – «Верончик не потянет!» А? Давай скорей докажем детям. Скорей докажем! Верончик – он потянет, ещё как потянет!»

Девчонка мрачно думала. Давала всунуть в себя ложку. Ещё одну. И бзыкала, взрывая суп в тарелке ручонками. И орала. Под шумок дети начинали таскать ложки быстрее, активней. Надеясь получить от Глафиры добавку и успеть перетаскать и её. Пока проорётся-то эта... Верончик оборвёт рёв – ложки сразу на тормоза. Начинают плавать по воздуху плавно. Все дети – как китаёзы, оттянувшие улыбки книзу. Верончик пуще разорвётся, вся зажмурится – ложки разом начинают стучать, как будто у солдат...

По окончании обеда Специальные Дети какое-то время кучкой теснились во дворе. Вежливо с ним знакомились, изучали. К Верончику, как к главному экспонату усадьбы, подходить было нельзя. А уж трогать руками – ни-ни! Об этом тётке Глафире всегда говорилось строго. Да и самим приближаться опасно, если по правдышке-то. Поэтому к выходу, к воротам, дети продвигались вдоль забора, боком, подальше от Верончика, которая поворачивалась за ними как за индейцами, лихорадочно соображая, что бы такое с ними, индейцами, на прощанье сотворить. Однако Глафира уже вытирала им носы, и они благополучно выходили на волю.

По улице опять неспешно побалтывались ясельной связкой парусных корабликов. С вытянутыми руками – напоминали вцепившихся в подолы гусей. Последним, в мешочных штанах и с верёвкой через спину, качался любимец Глафиры, полуторагодовалый Андрюша. Босой. Свежеобритый. С воздушной головой... Глафира смахивала слезу. Не удержавшись, Верончика – отталкивала. Захлопывала калитку, лязгнув засовом. Сиди в тюряге, шалава! Глафира – не мать. Нет – не мать. У неё – не попляшешь! И Верончик смирялась с тюрягой. Отворачивалась от калитки. Глазёнки её уже искали, что бы такое ещё сотворить. Ага! Вон она! – Кошка!

Через минуту взметнувшаяся кошка орала на досках забора, пытаясь умащиваться на них, как на ножах. Не решаясь спрыгнуть ни на улицу, ни обратно во двор к радостному Верончику с острой палкой... «Мяорррр!» – «Да что же ты делаешь-то, шалава безмозгла!» – спешила Глафира.

– Верончик! Веро-ок! – доносилось из-за тюля раскрытых окошек.

Перед тем как лечь в кровать, во время чтения у настольной лампы, Фёдор Григорьевич любил запустить руку в галифе. Сверху. Через пояс. Точно в гигантский карман. (Ширина и объёмность галифе позволяли ему это сделать.) Сладостно перебирал в штанах. Как золотые монеты отсчитывал. Сдачу. Марья Павловна, взбивая подушки, старалась словно бы не заме-

чать этой дурной привычки Фёдора Григорьевича. Иногда мягко журила его: а если Верончик? Фёдор Григорьевич с готовностью вскакивал, приглашал и её проследовать туда же, рукой оттопырив галифе уже как мешок. И медленно разоблачался – показывая ей всё своё богатство... С деланным возмущением Марья Павловна убежала за кровать, за высокую спинку с пампушками. Не оборачиваясь, требовала немедленно прекратить. Грозилась пальчиком своей тени в углу: прекрати немедленно! Фёдор Григорьевич смеялся, торопливо скидывал с себя всё, прыгал на свежую простыню, чтобы поджидать.

Но перед самым актом Фёдор Григорьевич становился очень серьёзным. Даже ответственным. Стоя на коленях, голый, очень прямой и строгий, он водружал на нос очки с жиденькими дужками, тщательно заправлял дужки за уши, молча и долго смотрел на такую же голую, лежащую перед ним, очень стыдящуюся Марью Павловну. Издав не то рык, не то хрип, не то крик – набрасывался. Подпрыгивал. Приподнимался на руках, разглядывал ещё и под собой тело жены, и тогда Марья Павловна видела, какой синей толстой ужасной веткой набухла на лбу у него вена. Казалось, Фёдор Григорьевич исходил весь в эту лоснящуюся, сосредоточенно мотающуюся, готовую вот-вот лопнуть вену-ветку. Весь! Без остатка!.. Но, к счастью, всё заканчивалось благополучно, и через минуту Фёдор Григорьевич лежал на Марье Павловне уже не опасный. Сбившиеся с лица очки свисали с уха его, как брелки. Просто как слепые брелки. Марья Павловна снимала их осторожно, клала на простыню рядом. Чтобы тоже отдохнули...

Полежав на Марье Павловне минут десять, Фёдор Григорьевич вновь водружал очки. И опять стоял перед Марьей Павловной столбиком. Как суслик перед раскрывшимся ландшафтом... Марья Павловна начинала стыдиться ещё сильнее... Кидался Фёдор Григорьевич, начинал рыть. Начинать словно бы подрывать Марью Павловну.

После акта второго очки висели на ухе, будто покалеченные. Фёдор Григорьевич проваливался в сон. А Марья Павловна поспешно отирала полотенцем на груди у себя мокрую голову, будто взмокшего своего ребёнка, и горячечно шептала: «Ах, как он работает! Как много он работает! Нужно отдыхать ему! Нужно больше отдыхать ему!..»

На концерте знаменитого хора Кожевенного завода Фёдор Григорьевич Силкин сидел в первом ряду, метрах в пяти от сцены. Марья Павловна с Верончиком его как бы с двух сторон облагораживали. Как рисующиеся постоянно виньетки. Большой зал ДК по этому поводу был забит полностью. На сцене Русский хор стоял громаден, будто волнующаяся верста.

Притушили в зале свет. Дирижёр дирижировал – как беду лапами разводил. Был он сутул, высок, костист. Фалды фрака свисали у него – как свисают портьеры. Зал аплодировал. Так. Всё хорошо. Дирижёр разворачивал себя для поклона. Из-за радикулита – реверансом. Отступая ногами. Снова отворачивал себя к хору. Закладывал под фалду платок. Судорожно разводил лапы: внимание!

Когда дирижировал «Во саду ли, в огороде», почувствовал, что хор как будто начали подёргивать с разных сторон. Верёвочками будто, исподтишка. Хор запел вразнобой, не по руке. Все хористки, кругля глаза, смотрели куда-то за него, дирижёра. Вниз, в зал. Туда же и хористы тянули шеи, будто голодные. Что за хреновина! – подумал дирижёр, – пьяный, что ли, опять какой? Скопил лицо. Продолжая дирижировать...

Девчонка! Какая-то девчонка лет пяти! Тощенькая, как муравей! Внизу, у сцены! Двумя указательными пальчиками взмахивает, дирижирует. Как бы командует, понимаешь. Но иногда как бы и журил хор: А-ата-та!

Дирижёр лягал, лягал ей фалдой: у-уйди! у-уйди отсюда!

Дирижёру шепнули... Дирижёр сразу ослабил. В зубах – как меридианный. Так и дирижировал – вывернув глобус к начальнику в первом ряду. Сильно приседал, подлаживался под взмахи ручек его дочери. Было теперь будто два дирижёра. Верхний на сцене и ниж-

ний в зале. Нижний руководил. Зал в такт захопал. Вскочил. Преданность на лицах. Счастье, порыв. И сорвалось всё по окончании номера в бурное всеобщее ликование. Очень продолжительное. Всюду жутко трепетали друг дружке стеклянные комарики рук. Лозунги пошли, призывы начали выкрикивать, но Силкин привстал с кресла, мотнул головой и сел. И все разом рухнули. Точно после припадка.

В перерыве шумок по залу был опрятен. Казалось даже – поодеколонен. Никто не смел подходить и беспокоить Фёдора Григорьевича, так и оставшегося в кресле. Только Марья Павловна могла находиться рядом с ним. Она была как-то очень нервна и одновременно обстоятельна и спокойна. Какой бывает осенняя смелая мушка. Она всё время словно бы садилась на руку Фёдора Григорьевича. И безбоязненно бегала по ней. Показывала всем свою взволнованную преданность этой милой руке, свою зависимость от этой милой руки, но – и полное на неё право. Да. Она словно бы выстрадала эту руку и всего Фёдора Григорьевича с рукой. Да, выстрадала. И не спорьте!

Верончик хотя и сидела с родителями рядом, но как-то отдельно от них. Как-то очень самостоятельно. Она явно опять что-то крепенько обдумывала. Время Верончика только-только наступало. Время Верончика было всё впереди. Только думать, думать надо. Соображать! Глаза Верончика словно прислушивались. К вызревающему внутри. И, как из омота вынырнув, разом становились шаловливыми. Ага-а, сейчас, сейчас! Погодите! Вот увидите!

После перерыва, по-прежнему разводя как бы беду руками, дирижёр нервно косился назад, ожидал от Верончика опять какой-нибудь каверзы, какой-нибудь кóвы, но всё было спокойно – Верончик сидела, побалтывала ногами в тощеньких гольфиках с помпончиками. Но когда хор пропел, дирижёр легкомысленно проследовал за кулисы. Чтобы получше разгорелись аплодисменты. А когда вышел – хористы его пели. Да, пели. Без него, дирижёра! Эту же вещь! Только что пропетую! И махала хору опять эта несносная девчонка! Ну что тут было делать? Дирижёр топтался на месте, то ли дирижировал, то ли хлопал в ладоши вместе со всеми, ослабившись до ушей. Совсем остался как бы не у дел. Будь ты проклята, маленькая говёшка!

Между тем Верончик отмахала. Вернулась под бурю аплодисментов и села рядом с матерью и отцом. Комарики рук прямо-таки стеклянной тучей стремились к ним! Но в то же время оставались как бы на месте, были дисциплинированы. Стремилась жутко! И на местах. Стремилась просто обвально! С нетерпеливым топотом ног! И – ни с места! Это нужно уметь. Это – диалектика, товарищи! Она, она, чертовка! У-урря-я!

Забор, окружающий усадьбу, был очень высокий. Высоченный. Горбыль пущен в небо в два этажа, один на один. Густо и плотно. Днём облачка заглядывали в этот двор словно бы с удивлением. Как известковые лебеди в озерцо на ограниченной клеёнке базарного живописца.

Лучи солнца по утрам могли пробиться только через щели или через дыры от выбитых сучков. Верончик бегала по двору, как золотистых тонких нитей надёргивала отовсюду этих лучей и всячески их запутывала. Хулиганила. Как если б хулиганил тонконогий шустрый паучок... Выбегала за баню. Солнце пило чай на краю огорода. Огород лежал, как халва... Снова забегала в лучи ограды. Как будто в клетку в золочёной паутине. Где принималась бегать, дёргать, всё запутывать.

На забор сдуру садился голубь. Робко переступал, передвигался по нему, выдвигал любопытную головку. Словно прилетел знакомиться. В великих неуклюжих крыльях. Будто во фраке с чужого плеча... Да в камни его, прохвоста! Над пролетающим камнем голубь подскокнул, взорвался переломанным веером – и ускользнул от дурочки за забор.

Выглянул было петух из сарая, но сразу исчез. Дрессированный. Верончик и туда пульнула камнем. Чтоб не выглядывал.

Иногда за забором трусíла стайка ребятишек. Весело смеющаяся, весёленько переговаривающаяся. Осторожный глаз девчонки замирал возле дырки от сучка. Будто неумело представлялся к зыбкой золотящейся подзорной трубе... Истинно, как шанкр, вращивался в этом дворе забубонный индивидуализм. Чтобы в дальнейшем, по мере взросления, сесть ему, как на член, на какой-нибудь легкомысленный коллектив...

В полдень, в жару, когда солнце поджаривало, во дворе изнывала кастрюльная оцинкованная духота. Зной. В доме начинала кудахтать Марья Павловна. Из окошка вылетало:

– Верончик! Веро-ок!

На середине двора Глафира вскидывала подол. Как будто тыкву-рекордистку обнажала. Сразу сбегались куры, думая, что зерно. Верончик подглядывала сзади, принималась прыскать. Глафира сбрасывала на ноги всё, для проформы поправляясь...

– Как вам не стыдно! Глафира!..

Возмущённая, вся красная, на крыльце стояла Марья Павловна. Мать! Верончика!

– Чему вы учите ребёнка! Туалет рядом! Два шага пройти!..

Женщина хмурилась. Уличённая. По мелочи. По пустяку.

– Чего ещё... Да ладно! Всё равно никто не видит. Она заборы-то – до неба... Как в тюрьме живём...

– Да мы-то, что – не люди для тебя?!

– Да ладно... – морщилась женщина. – В бане вместе моемся... А тут, подумаешь – посс...ла...

Марью Павловну как будто ударили током. Марья Павловна какое-то время задыхалась, не находя слов. И топалась на крыльце, сделавшись бурой, как помидор:

– Д-домой! Верончик! Немедленно д-домой!

Девчонка прямо-таки на цыпочках плыла к крыльцу. Потупившийся невинный ангелочек. А тётка... а тётка брала в руку плетёную выбивалку – и начинала лупить ковёр, развешенный у забора...

– Из грязи – в князи... Мать вашу!

Шарахала. Как будто эхо во дворе убивала. Нервные куры подскакивали.

Право на трёх кур этих и петуха Глафира отвоёвывала месяц. С весны ещё. Как только сошёл снег. «Ни курочки не заведут, ни петушка... – поначалу ходила и достаточно громко ворчала во дворе. Злой женской ногой в мужском ботинке пинала пустую корзину, всегда случавшуюся на пути: – Тюрьма!.. Пустыня!»

Марья Павловна вздрагивала. Где куры – там петух. Это что же будет? Он же начнёт их обрабатывать по всему двору. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно! И всё это на глазах у Верончика?.. Марья Павловна холодела, внутренне содрогнувшись. Нет-нет-нет! Только не это! Как бы: свят-свят-свят! Поспешно делала вид, что не слышит, что не видит ничего. «Верончик! Веро-ок!»

На другой день ходили и пинали прямо с утра. Корзина летала, как привязанная к ноге: «Курочки н-нету! Петушка н-нету! Пустыня! Тюрьма!» Марья Павловна зажмурилась. Даже затыкала уши. Ну вот не видит, не слышит она ничего, и всё тут!

Тогда подступали прямо к ней. С выпучиванием честных укоризненных глаз, как репчатого лука. Что же, мол, это, Марья Пална! А? Где куры-то? Где петушок? Разве ж можно так? Ведь пустыня! Тюрьма!

Марья Павловна набирала воздух в грудь, задерживала – и выдыхала: нет! Как та девка из анекдота. Предварительному парню. Мол, не-не-не! и не думай! и не гадай! И металась взглядом. Как бы полным заботы. «Верончик! Веро-ок!»

Тогда Глафира говорила: эх! И от ударов ботинка корзина опять начинала взмывать. Взмывать, как дирижабль на верёвке, далеко не улетаая. Эх...

...За обедом, при Фёдоре Григорьевиче, Верончик коротко, радостно, два раза, выдохнула:

– Хочу курочку!.. Хочу петушка!..

Как бы с радостью вступила в борьбу. В драчку. Марья Павловна опять вздрогнула. Глянула на Глафиру. Заговор. Науськивание невинного младенца. Марья Павловна взяла себя в руки, сказав, что курочка и петушок будут завтра. На обед. Глафира приготовит. Глафира закатила обиженные глаза к потолку. Доверяя их только Богу.

– Живых! – не поддалась Верончик. И снова радостно выдохнула, что хочет курочку, хочет петушка! Никуда как бы теперь не денетесь. Петушка-а!

Оторвавшись от жаркого, Фёдор Григорьевич поверх очков уставился на дочь. К жене повернулся... С замысловатыми воротничком и причёской Марья Павловна походила на тесную розу... Марья Павловна торопливо начала подкладывать ему в тарелку: ешь, ешь, Феденька, дорогой, ешь!

– Петушка-а! – требовал словно уже весь народ.

О чём она? Какого петушка? Зачем петушка? У Фёдора Григорьевича за время обеда все государственные думы вместе с пищей сталкивались куда-то ниже. Гораздо ниже головы. Куда-то в грудную клетку его. Как в мешок булжники. В голове становилось пусто. Курящееся от пищи, обалдевшее сознание требовало поводыря, поддержки, руки. Человек ничего не понимал. Человек становился словно не от мира сего...

– Сельскава-а!

– ??!

Ах, Федя, ты ничего не понимаешь! Марья Павловна подпиралась кулачком. Как всё та же тесная роза любви. Только теперь роза печали. Готовая плакать. Здесь, можно сказать, рушатся крепости, города... а он на флейте своей играет. Блаженный. Несчастный. Прямо невозможно не заплакать. Феденька-а...

Силкин косился на жену. Скоро надо поднимать всё, обратно в голову брать, понимаешь, – а тут слёзы какие-то... Сама собой набегала на лицо хмурость.

Глафира с тарелками двигалась вдоль стены. Передвигалась фоном. Ущерблённым, рассыпающимся, фоном на цыпочках.

...Когда она принесла их в мешке и выпустила во двор – петух, отряхнувшись, побежал и тут же загнул одну из куриц. Будто испуганного в перьях индейца раскрыл. И ударил сверху в него красным червяком. Всё! Готово!

Марья Павловна почувствовала сердцебиение. Верончик подбежала, чтобы лучше разглядеть. «А почему не склешшились?» Заводя к небу глаза, Марья Павловна почувствовала, что теряет сознание. «Он топчет её, а не склешшивается», – объяснила Глафира, с гордостью глядя на петуха. Петух жёстко распускал к земле крыло. Как сабли точил. «Мам, правда? Да? Топчет?» Марья Павловна пошла. Качаясь. «Да, он топчет. Он только топчет. Он топтун...» Ещё с беременности лелеемое, с любовью строенное, мечтательное, идиллическое... воспитание проваливалось. Рушилось. Жизнь хапала своё... О-о-о!

С неделю Верончик втихаря терроризировала петуха. Гонялась за ним с палкой. Петух стал пуглив, исчезающ. Вздрогнув, от Верончика он бежал как острый, мгновенно худеющий парус. Два раза, когда взлетал на кур, шарахнули камнем. Его старались придавить, как солдата. Прятался.

Ничего не подозревающая Глафира, как всегда, совершала свой обряд прямо во дворе. Обложенная платьем... Прибегали куры... Петух только выглядывал... Глафира косилась на петуха... «Чё-то перестал кур топтать, зараза! – делилась заботой с хихикающим, подглядывающим Верончиком. Начинала платье меж ног прокидывать. – В махán его надо, стервеца!

– Глафира, вы опять?.. – отдалённо, еле-еле доносилось из окошка, будто с того света.

– Да ладно, Марья Пална! – Платье сбрасывалось. К дому, к окошку спешили. Так спешат к единомышленникам, к друзьям. В данном случае – к подруге. Зад беспокойно перекатывался всеми своими громадами под тонюсеньким ситцем.

– ...Я чего хочу сказать-то, Марь Пална! Петух-то, петух-то, зараза, бракованный оказался, порченный. Кур топтать, зараза, перестал. Напрочь!.. Я чего говорю-то: нового надо скорей, нового. А этого – в махан, в маха-ан! Как считаешь, Марь Пална? А?

Как будто в плакучих цветах стояла Марья Павловна в резном окошке. Смогла заклёкнуть только:

– Ты опять?..

Ну, уж это! Право слово! Ей про Фому, а она про Ерёму! Неудобно даже как-то...

– Я спрашиваю тебя... ты опять?..

Развальная тётка с бобинным серым колтуном на голове топталась, сосредоточивалась. Чтобы дать, значит, ответ.

2. Долгие тяжёлые дни отдыха, или Раз-два! Раз-два!

1

Под бодренькие команды Верончика, гоняющей строй во дворе, Фёдор Григорьевич в спальне совершал на Марье Павловне утренние, стойкие, ритмичные подкидывания. Раз-два! Раз-два! Было воскресенье, окно из спальни во двор оставалось раскрытым, голосок Верончика слышался хорошо, чётко, проходил прямо под окном. И Марья Павловна страшно стыдилась, исподтишка хотела сбить Фёдора Григорьевича с этого ритма, сопротивлялась ему, как сопротивляются постороннему случайному попутчику на улице. Который нарочно топает с тобой, мерзавец, в ногу. Давит будто на тебя, мучает. Конечно, Фёдор Григорьевич – не посторонний попутчик, нет, но нельзя же... но нельзя же, чтобы он и Верончика вовлекал в свои подкидывания, чтобы она шла с ним словно в ногу. Господи! Что делать! Однако Фёдор Григорьевич настаивал, продолжал подчиняться голоску Верончика, продолжал подбрасывать постель с Марьей Павловной соответственно голоску, точно. Раз-два! Раз-два!

Таким образом совершив под звонкие команды тридцать пять подкидываний или, говоря медицинским языком, тридцать пять полноценных фрикций... Фёдор Григорьевич внезапно сбился с ритма – и зачастил, и зачастил, и рухнул на Марию Павловну, подкидываемый уже ею, уже не участвующий. Сбив, как всегда, на щеку очки, которые свисли опять как брелки.

Между тем короткий строек, составленный из трёх Глафириных племянниц и племянника Андрюши, продолжал молотить босыми ногами во дворе. Голоногая командирша в сандалиях, лёгкая и ходкая, как цапля, шла сбоку-чуть-впереди. С ритмичной механистичностью прихрамывающей пружинки она приседала к ним, она наставляла им кулачком:

– Раз-два! Раз-два! Возьмём винтовки новые и к ним флажки, и с песнями в стрелковые пойдём кружки! – Она будто дирижировала им. Будто преподносила ритм на блюдечке, на тарелочке. Её полевая сумка стучалась по голяшке, отлетала.

– Раз-два! Раз-два!..

Специальные Дети топали. Прошло три года, как они начали подкармливаться у тётки Глафиры, у Силкиных. Последние полгода им разрешили ходить каждый день, на дармовых сытых хлебах они отъелись, стали тяжеловатыми для строя, задумчивыми. Задки их оттопырились бараньими кочками, курдючками, а всегда обритая голова Андрюши стала воздушной, как никогда... Верончику приходилось нещадно гонять их, чтобы добиться какого-то толка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.